

И. К. КОНДРАТЬЕВ

БИЧ БОЖИЙ



Бич Божий. Божье знаменье //Панорама, Москва, 1994

ISBN: 5-85220-374-2

FB2: Isais <isais2005@yandex.ru >, 2018-02-08 11:03:48, version 1.1

UUID: samlib5a7c04662a3622.12917523

PDF: fb2pdf-j.20180924, 29.02.2024

Иван Кузьмич Кондратьев

Божье знаменье

Историческая повесть с мелодраматическим сюжетом из времен войны 1812 года.

Многие предсказания и знамения сулили великие потрясения Европе и России в начале XIX века, и прозорливцы делились этим тайным знанием. *Sed quos Deus perdere vult dementat...*

Содержание

#1	0006
Пролог В ГРУЗИНАХ	0007
Разоренный год	0042
I ВЕЛИКИЙ КОРСИКАНЕЦ	0042
II КОМЕТА	0050
III В ЧЕРНОМ ПОКРЫВАЛЕ	0055
IV НАД БЕРЕЗИНОЙ	0061
V БЕДНАЯ ПЕВИЦА	0066
VI ВМЕСТО ЦВЕТКА — БРИЛЛИАНТ	0073
VII В ВИЛЬНО	0081
VIII ОТСТУПЛЕНИЕ	0095
IX В САДУ	0099
X НА СКЛОНЕ ЛЕТ	0110
XI ПЕРЕД ГРОЗОЙ	0124
XII ЦАРСКИЙ КЛИЧ	0135
XIII НЕЖДАННЫЙ ГОСТЬ	0138
XIV ГРАФ РАСТОПЧИН	0147
XV ПРЕДСКАЗАТЕЛЬ	0152
XVI МАРКИТАНТКА	0159
XVII ОПЯТЬ ОНА!	0166
XVIII В КАБИНЕТЕ НАПОЛЕОНА	0171
XIX ПРЕРВАННАЯ ИДИЛЛИЯ	0182
XX КНЯЗЬ БАГРАТИОН	0190
XXI БАРКЛАЙ ДЕ ТОЛЛИ	0200
XXII КНЯЗЬ КУТУЗОВ	0208

XXIII БОРОДИНО	0213
Эпилог	0236

И. К. Кондратьев
Божье знаменье

Повесть

Пролог В ГРУЗИНАХ

*Наука трудная непостижима в
век
Для человека есть загадка — че-
ловек!*

Херасков

Давно уже не существует того памятника — Дрод каменной часовенки с железным крестом, который стоял в Москве на нынешней Грузинской площадке, против церкви Св. Георгия Стратотерпца. Скромный памятник этот был построен на месте, где когда-то был храм во Имя Св. Апостола Петра и Павла Апшеронского пехотного полка, стоявшего там лагерем.

В то время, к которому относится начало нашего повествования, маленький памятник этот не только существовал, но был только что построен на средства полка и освящен.

В тот самый день, когда совершилось освящение этого маленького памятника, семья цыган, пользуясь случаем, поместилась на

его маленьких ступеньках и просила у проходящих милостыни. Семья состояла из четырех человек. Сидел старый цыган, еле одетый какими-то лохмотьями, низенький, с растрепанными волосами и со взглядом, полным пронизательности и плутовства. Рядом с ним помещалась цыганка, старая, длинная, сухая, глядевшая необыкновенно уныло и зловеще из-под черных, длинных ресниц. Волосы ее тоже были растрепаны и висели наподобие каких-то черных жгутов. Прямо перед ними не на ступеньках, а на земле, немного поодаль, сидели их дети: дочь, девушка лет двадцати, и мальчик лет восьми. На мальчике была рваная, грязная рубашонка. На девушке — большой полосатый платок, который окутывал ее почти всю. Из-под платка торчали только смуглые с длинными пальцами руки да маленькая, волосатая голова. Руки ее поминутно протягивались: она назойливо, резким, гортанным голосом просила подаяния у всех проходящих, и кто подавал, особенно щедро, предлагала погадать. При этом миндалевидные глаза ее вскидывались на щедрого дателя и сверкали тем холодным

огоньком страстности, которая так присуща этому бродячему племени.

День был праздничный, народу проходило немало, и потому не мало грошей перепало в руку молодой смуглянки. Собранные гроши она немедленно передавал своему отцу, старому цыгану, у которого они мгновенно исчезали. Гадание не удавалось. Подошел какой-то мещанин в поддевке, подал копейку, перекрестился и, узнав, что цыганка гадает, пожелал узнать «свою судьбу». Но когда цыганка спросила: «Что дашь?» — он повернулся и пошел далее. Подгулявший солдатик, улан, в мундире с желтыми отворотами, заплатив алтын, тоже пожелал узнать «про себя». Цыганка взяла его руку, быстро взглянула и, оттолкнув, проговорила: «Голыш!» Улан был озадачен. С каким-то суеверным страхом отошел он от гадальщицы и долго дорогою размышлял по этому поводу, ничего, конечно, не понимая и сожалея о брошенном напрасно алтыне.

Необыкновенная, дикая красота нищенки-гадалки заставляла прохожих останавливаться и любоваться ею, причем сама винов-

ница любопытства только одно и знала, что протягивала руку, прося о подаянии, или предлагала погадать. Отец и мать ее молчали, строя жалостливые рожи и мерно покачивая своими лохматыми головами. Мальчонок ковырялся в песке или вторил сестрице, когда та просила о подаянии. Особенно была поразительна красота молодой цыганки в те минуты, когда она, тряхнув массой волос, вздергивала голову вверх, как бы неожиданно что-то увидав. Вздергиванье это она делала довольно часто — это была ее привычка. У ней была еще другая привычка — по временам быстро сверкать глазами то в одну, то в другую сторону. Она сама, как истая цыганка, была брюнетка с золотистым оттенком кожи на лице. Когда она хоть немного опускала ресницы, глаза ее казались черными, как уголь, когда же широко открывала их, то цвет их несколько походил на цветок льна, что бывает только у самых нежных блондинок. Эта странность придавала ей своеобразную красоту, и будь тут художник, любитель, мастер пластической и чувственной красоты, то он непременно бы залюбовался ею, как хорошей

натурщицей для сладострастной вакханки.

Не удивительно после этого, что шедший откуда-то молоденький офицерик, в коротеньком светло-зеленом полукафтани, с загнутыми спереди и сзади фалдами, в ботфортах, в треуголке, остановился перед семьей цыган и с каким-то детским любопытством остановил свой взгляд на молоденькой цыганке.

Цыганка вздернула голову и сверкнула глазами.

— Подай, офицер, подай! — заговорила она нараспев, не спуская с него глаз.

Молодчик сразу сконфузился и торопливой рукой начал доставать деньги.

— Подай, подай! О, ты добрый офицер! — продолжала она. — А мы бедные... Венгрия... из пушты...

Старые цыгане молча кланялись, не вставая, однако ж. Мальчонка вторил сестре и твердил: «Подай, подай!»

Молодчик вытащил серебряный рубль, держа его в руках: он не настолько богат, чтобы мог подавать такую милостыню, но других денег у него не было, а сдачу просить было со-

всем-таки неловко.

Завидев рубль, вся семья завопила благим матом, называя молодчика и графом, и князем, и ясновельможным. Молодая цыганка встала. Сконфуженный и почти растерявшийся офицерик сунул ей поскорее в руку рубль. Попрошайки, словно по команде, мгновенно притихли. Офицер хотел уйти.

— Пстой ты! Пстой! — остановила его за рукав цыганка. — Хороший офицер... добрый офицер... так не можно... Хочешь — песню спою... хочешь — погадаю... для доброго все можно...

Не успел еще молодой человек сказать что-нибудь в ответ на предложение цыганки, как она из-под тряпья, тут же валявшегося, быстро вытащила цимбалы. Она села на ступеньку, положив цимбалы на коленки. Старики отодвинулись, дав ей место.

Она трянула головой — и лицо ее вдруг стало особенно серьезным.

— Ну... слушай... ты... — произнесла она, глядя на цимбалы.

Молодой человек не трогался с места. В первый раз еще молодое сердце его трепетало

каким-то новым чувством сладостного ожидания. Он только что был выпущен из шляхетно-артиллерийского корпуса, и жизнь с ее горем и сладостями была ему еще совсем неведома. Он глядел на жизнь еще с точки зрения школьника, для которого покуда все хорошо, заманчиво и полно чего-то чарующего. Молодой человек немало слышал, немало читал о цыганах, но в натуре ему пришлось увидеть их только в первый раз. Он стоял и ждал.

Металлические, ржавые струны цимбал дрогнули — по ним слегка пробежали искусные пальцы молодой виртуозки. Затем звякнул колоколец, задребезжали маленькие литавры и застонала какая-то грустная, протяжная мелодия.

Молодой человек слушал внимательно. Нервы его были напряжены: он весь превратился в слух. И не удивительно: слуха его еще никогда не касалась такая странная, тоскливая и вместе с тем жгучая мелодия. Звуки точно рисовали какую-то неведомую, однообразную даль, однообразное тихое завыванье ветра. Среди этих звуков уныния вдруг прорвал-

ся звук чего-то светлого, радостного — и пахнуло как бы внешним запахом цветков, березок и сочных трав. Светлый звук оборвался — и потянулась опять непрерывающаяся, тоскующая о чем-то и по ком-то нота: в ней слышалось и бесконечное горе бедняка, и тихий плач, и вопли разлуки.

На глазах молодого человека наворачивались слезы. Под влиянием царившего в том веке Руссо молодой человек, как и множество других ему подобных не только молодых, но и старых людей, преисполнен был сентиментальности, которая и проявлялась в нем при всяком удобном случае.

Подошло еще три-четыре человека, и стали слушать. Один из них, по-видимому мещанин, заметил, что не добро-де у Божьей часовенки играть бесовские песни, но подошедший вслед за ним к виртуозке юноша лет восемнадцати с типическим лицом грузина — очень умным, быстрыми глазами, носом с горбиною, с бровями дугою — посоветовал ему идти далее и не мешать. Мещанин покопился на юношу и торопливо пошел далее.

Цыганка продолжала играть, как бы не за-

мечая собравшихся. Вдруг она оборвала звуки и подняла голову. Старые цыгане начали усиленно кланяться. Мальчонка молча протягивал руку. Несколько монет подаяния полетело к ногам красавицы. Мальчонка подбирал деньги. Но сама виртуозка снова уже пробежала пальчиками по струнам инструмента, собираясь играть.

— Э, да она превосходно играет! — заметил юноша-грузин. — Да и какая прехорошенькая!

Последнее замечание заставило офицера обернуться и встретиться лицом к лицу с юношей-грузином.

— Не так ли, государь мой? — спросил юноша-грузин, улыбаясь и слегка кланяясь, у обернувшегося к нему офицера.

— Да, вы правы... да... она замечательно хороша собой... цыганка эта... — тоже слегка кланяясь, отвечал молодой офицер, причем он несколько покраснел.

— Смею спросить: из шляхетно-артиллерийского корпуса изволите быть? — спросил опять грузин.

— Точно, только месяц как выпущен отту-

да в чине подпоручика.

— Вижу, вижу, государь мой...

Брякнули цимбалы.

— А, да она не заставляет себя долго ждать, эта красоточка — снова заигрывает! — произнес грузин.

Цимбалы уже издавали тихие, меланхолические звуки. Затем виртуозка, как-то сразу, сильным гортанным голосом запела:

*Тэ зэлэндуба, та зэлэнка,
Та зэлэнэнка, тэ дубровэнька!
Тэ я листьа лья, тэ бумажиэнысэ,
Тэйо мурицы, тэйо мурэнгирэ!
Тэй корипизо, тай рукэвенько![1]*

Никто, конечно, из слушающих не понял, что, собственно, воспевала цыганка, но зато всякому была понятна дикая, страстная мелодия песни, и особенно поразил всех конец ее, когда песня, смолкая все тише и тише, вдруг словно улетела куда-то далеко и замерла в пространстве. Незнакомые слушатели даже переглянулись между собою.

— Удивительно! — воскликнул грузин. — Этакое милое творение — и просит подаяния! Вот бы увидал Орлов, наверное бы, приписал

в свой московский табор и осчастливил бы.

Молодой офицер насторожил ухо.

— Это какой-с Орлов, — узнать позво-
лительно? Не граф ли, Алексей Григорьевич?

— Он, точно.

— Говорят, богат?

— Чутьочку имеет больше нашего! — засме-
ялся юный грузин. К разговаривающим подо-
шла цыганка.

— Ты, офицер, дай руку — погадаю!

Офицер подал. Внимательно и долго рас-
сматривала цыганка руку молодого человека,
потом оттолкнула ее.

— Ну... что ж? — спросил офицерик
несколько смущенно.

— Тебе не надобно гадать... жалко... — про-
говорила неопределенно и угрюмо цыганка.

— А, да это любопытно! — воскликнул гру-
зин. — Она гадает, но, наверное, плутует, как
и все цыганки. Одна мне гадала... Представь-
те, господин офицер, она мне предсказала,
что я буду большим генералом! Не смешно
ли? Вам, господин офицер, сколько лет?

— Восемнадцать.

— Точь-в-точь и мне столько же. Но вот вы

уже подпоручик, а я не только не подпоручик, но даже не умею порядочно взять в руки и ружья. Не смешно ли!

Офицер молчал. Его вовсе не занимали шутки незнакомца. Он более думал о том, отчего эта цыганка ему не сказала, а проговорила только «жалко». Кого жалко? Не его ли?

Все разошлись. Перед семьей цыган стояли только офицер и грузин. Последний с улыбкой смотрел на цыганку и побрякивал в кармане сюртука василькового цвета серебряными деньгами.

— Так и не скажешь? — решился спросить офицер.

— Не скажу! — резко проговорила цыганка.

Грузин рассмеялся:

— Да она и не знает ничего, господин офицер, напрасно беспокоитесь.

Цыганка вздернула головку и дерзко взглянула на грузина. Тот, в свою очередь, вперил на цыганку насмешливый взгляд. Цыганка сжала губы.

— Без сомнения, — смеялся грузин, — она умеет так же гадать, как и мы с вами, госпо-

дин офицер.

Цыганка озлилась.

— Я все знаю... все... ты врешь! — нагло проговорила она. — Ты!.. — обратилась она к офицеру... — ты... какой сегодня день?

— Седьмое сентября, воскресенье, — сообщил грузин.

— Воскресенье... седьмое сентября... о, да... такой день. Он самый... — шептала как бы про себя цыганка...

— Ну, седьмое сентября... что ж дальше? — не отставал грузин, видимо, человек бойкий и веселого нрава.

— Он погибнет седьмого сентября! — произнесла пророческим тоном цыганка.

Грузин расхохотался. Но молодой офицер сразу побледнел и выпучил глаза на гадальщицу. Та не смотрела на него.

— Не пугайтесь, господин офицер, право, не пугайтесь! — хохотал грузин, — ведь она врет! Ей соврать — все равно что с нас по одному рублю получить.

— Где ж он, рубль-то твой? — огрызнулась молодая гадальщица.

— Рубль? А вот он! — шутил грузин. — Пла-

чу за музыку — хороша! Впрочем, можешь и погадать за тот же рубль — что ему даром-то пропадать.

Грузин кинул рубль старикам, который те подхватили на лету, и долго потом кланялись.

— Так давай руку-то! — подошла ближе к грузину цыганка.

Тот со смехом подал свою правую руку. Цыганка не долго рассматривала руку грузина. А когда рассмотрела, то произнесла:

— Ты и теперь знатный, а будешь — еще знатней... много почестей... силы...

— А денег? — не переставал шутить грузин.

— Про деньги? Про деньги не знаю, — закачала головой цыганка.

— Вот тот-то, самое-то главное и не знаешь! Ну, а умру когда — рассмотрела?

— Умрешь... тоже... седьмого... сентября, — удовлетворила его любопытство цыганка и села опять на землю.

— Вот, как говорится, два сокола под один выстрел! — смеялся грузин совершенно добродушно. — Не по дороге ль нам, господин

офицер? — спросил он порядочно растерявшегося артиллериста. — Вы куда?

— Я тут... недалеко... туда, за пруд, — отвечал все еще смущенный офицер и указал рукою на луг, принадлежавший князю Грузинскому.

— Представьте, государь мой, и мне туда же. — сообщал словоохотливый юноша. — Пойдемте вместе. Уж коли погибать, так погибать один подле другого — по крайней мере, сегодня, — болтал он беспечно и с улыбкою.

Офицер все еще глядел тревожно: слова цыганки-гадальщицы не на шутку смущали его. Он, однако ж, пошел рядом с незнакомцем, когда тот, покосясь с улыбкой на цыганку и погрозив ей пальцем, отошел от часовенки.

Некоторое время молодые люди шли молча. Они представляли между собой резкую противоположность. Офицер, в своем мундире с отворотами фалд спереди и сзади, был похож на молодого журавля. Грузин был широкоплеч, выступал бодро, и вообще вся его фигура дышала здоровьем и энергией.

— Какая смелая... цыганка эта... — прогово-

рил наконец, как бы про себя и отвечая на свои мысли, молодой артиллерист.

— Надо правду сказать: бойкая, — подтвердил грузин. — Во всяком случае, должно быть, храбрее нас с вами, хоть и не училась, подобно вам, стрелять из пушек. Но заметили, — засмеялся весельчак, как она прекрасно стреляет глазками. Держу пари, что она подстрелила ваше сердце, господин офицер.

Офицер смутился.

— Нет... нет... мне, право, не до того...

— А чертовски хорош, дьяволенок! — произнес грузин, чмокая губами. — Право, будь деньги, непременно постарался бы устроить судьбу этого прехорошенького чертенка.

— Разве вы бедны? — решился спросить офицер.

— Беден не беден, а уж, во всяком случае, не богаче вас.

— Я бедный дворянин... у меня ничего нет...

— Ну, и у меня столько же, хотя я немножко и выше дворянина.

— Выше... дворянина?

— Да... чуточку...

— Кто же вы?

— Я — князь.

Молодой артиллерист, отступив, робко посмотрел на князя.

— Чего испугались? Князь-то я безвредный, нестрашный. Я самый простой князь.

— Стало быть, цыганка не соврала: она назвала вас, князь, знатным, — проговорил офицер.

— Почему-то не ошиблась — надо правду сказать, но все остальное вздор, верьте мне.

— А ежели правда, князь? Ведь существовал же Задека, Нострадамус. Предсказывали — и сбывалось.

— Может статься, и сбывалось, но я решительно не верю этому. Но цыганки уж совсем-таки врут. Вот я сейчас иду к одному алхимику, который занимается астрономией и в то же время предсказывает. Если верить его предсказаниям, то я буду бедняком и умру в сарае. — Князь засмеялся. — Как это вам нравится — в сарае? И откуда — любопытно — он видит или увидел сарай? Чудак! Вот нынче же спрошу о дне смерти: не выйдет ли седьмое сентября...

— Вы шутите, князь, а предсказания иногда сбываются, — говорил, не глядя на князя, офицер. — С моей матушкой был случай...

— Ох, уж эти случаи! — перебил князь.

— Право... вы не верите, князь?.. Так, простая старушонка предсказала, предсказала, что она, моя матушка-то, умрет в Вознесеньев день...

— Ну и что ж?

— Точно умерла в этот день.

— И старушонка радовалась, что предсказание ее сбылось?

— Нет, она умерла раньше матушки.

— Странно... странно... — протянул с неопределенной улыбкой князь.

Офицер остановился:

— Мне сюда-с, налево, за дворец Грузинских... я живу у тетушки... Прощенья прошу, князь...

Молодые люди стояли против какого-то деревянного домика с мезонином. Окна в мезонине были открыты, и оттуда слышался какой-то неопределенный шум. Конечно, молодые люди не обращали на это внимания.

— Позвольте узнать: с кем имею честь? —

спросил у офицера князь, делая приличный поклон. Офицер отрапортовал:

— Подпоручик Егор Ильич Веретьев.

— Приятно быть знакомым. Я князь...

Князь недоговорил: над самым ухом его прожужжало, с тонким свистом, что-то резкое и горячее. Он почувствовал, что ухо его точно обожгло огнем. В этот же самый момент, стоявший перед ним несколько наискось, подпоручик Веретьев схватился, с коротким криком, за левую сторону лба и мгновенно рухнул на землю.

Князь, несколько растерявшийся, торопливо нагнулся над Веретьевым:

— Что с вами? Ранены? Куда? Откуда выстрел?

Вместо ответа князь увидал только перед собой кровь, дымящуюся теплом, совершенно белое лицо и необыкновенно вышедшие из орбит глаза. Глаза имели оловянный цвет, но в зрачках сверкали еще искорки жизни. На мгновение князь зажмурил глаза, чтобы не встречать этого страшного взгляда молодой угасающей жизни. Когда он снова взглянул на несчастного, то перед ним лежало уже

одно бесчувственное тело.

Сердце князя заныло, холодная дрожь пробежала по всему телу. Ему показалось, что волосы на его голове поднимаются, а ноги подкашиваются. Боясь упасть, он приподнялся и огляделся вокруг. Вокруг было тихо и пустынно — нигде не виделось ни одного живого существа, улица точно вымерла. Смолк шум даже в мезонине.

— Какая странная, кровавая случайность! — произнес тихо князь и невольно взглянул на небо.

Небо заволакивалось осенними тучами, предвещавшими долгий и обильный дождь. С Пресненских прудов потянуло сырым холодом, и поблеклые листья на деревьях уныло зашелестели свою однообразную, тягучую песню.

И эти черные, надвигавшиеся с запада, тучи, и этот унылый шелест деревьев, роняющих свой лиственный убор, и этот труп молодого человека, погибшего Бог весть от чьей пули, — все это привело недавно веселого князя в такое тяжелое уныние, что он не произнес, а почти простонал:

— Какая грусть!.. грустно-то как!.. Боже!..

Было уже совсем темно, и осенний ветер с мелким дождем, с особенным унылым озлоблением носился по пустынным улицам Грузин, когда молодой князь постучался в калитку довольно обширного старого дома у верхнего Пресненского пруда. Ему тотчас же отперли.

— Что так поздно, князинька? — спросил чей-то дружеский голос с крыльца под широким навесом.

— История, да еще какая! — ответил князь, шагая к крыльцу.

— Хорошая? Дурная?

Приятель вошел в дом. Та комната, в которой они очутились, представляла весьма своеобразную и странную мысль рядом с массой книг, толстых, в кожаных переплетах с застежками, лежали груды какие-то замысловатые физические и химические инструменты и большие стекла. На стенах, на подставках, стояли чучела разных крупных птиц: орлов, коршунов, дроф и между ними висело старое оружие. Весь пол был устлан тигровыми кожами. В углу ютился род какого-то

жертвенника, прикрытого зеленым сафьяном. Посредине комнаты стоял громадный письменный стол, покрытый тоже зеленым сафьяном, и на нем, в страшном беспорядке, высились целые пирамиды громадных фолиантов в черных кожаных переплетах. На нем же стояла большая лампа, закрытая зеленым колпаком. В двух углах чернели высокие шкафы. Кое-где стояли жесткие кресла с высокими спинками. Вообще вся комната имела какой-то мрачный вид и была похожа на склад всякого старого хлама. Лампа тускло освещала эту комнату, и ее бледно-красноватый свет придавал комнате еще более угрюмости.

— Фу, как у тебя сегодня невесело, дяденька! — произнес, входя, князь.

— А когда ж у меня весело, дружок? — спросил хозяин дома и обладатель мрачного кабинета.

— Да всегда, только не сегодня.

— Да ты, дружок мой, сам что-то не таков, как всегда бываешь, — заметил хозяин. — На лице твоём я вижу некое тревожное выражение, да и голос твой что-то дрожит.

— Неужели? — несколько удивился князь.

— Поглядись в зеркало. Впрочем, может быть, причиной всего преинтересная история, о которой ты только что упомянул.

— История? Да, да, именно — она, — отвечал князь, усаживаясь в кресло. — Но — история после. А теперь недурно было бы кофейку и трубочку. Правду сказать, оделся по-летнему, а ветерком-то и продуло, да и дождиком смочило немножко. Продрог.

— И поделом! — упрекнул хозяин. — Не обманывай в другой раз. Каков молодец! — обещался быть днем, а пришел чуть не в полночь. Бабье мое уже давно разбрелось по своим углам, и сам я, признаюсь, уж и ждать тебя перестал. Хотел заняться Сведенборгом.

— То есть бесплотными силами, влиянием их на человека? — сказал князь, слегка улыбаясь.

— Молод ты еще смеяться, дружок, над предметами, которых не понимаешь! — проговорил хозяин с оттенком некоторой серьезности.

— Не сердись, дяденька, сегодня менее, чем когда-либо я способен смеяться над таинственными путями природы. Сегодня я был

свидетелем... Что ж вы кофейку-то, дяденька, да трубочку?

Хозяин в дверь приказал подать то и другое и, немедленно возвратившись к князю, спросил:

— Чего ты был свидетелем, говори? Ты уж что-то очень любопытно начинаешь, дружок мой...

— От вас, дяденька, от алхимика, выучился: вы тоже всегда начинаете таинственно и с заклятиями... Ведь правду говорю, Ираклий Лаврентьевич? — засмеялся добродушно молодой князь.

— Ах, неисправимый зубоскал! — пригрозил пальцем Ираклий Лаврентьевич. — Не люби я тебя так, шалуна эдакого, право, оттрепал бы.

Подали кофе и трубку. Молодой князь, точно не замечая присутствия Ираклия Лаврентьевича, занялся сперва кофе, потом трубкой. Только затянувшись несколько раз любимым турецким табаком, князь поднял глаза на сидевшего перед ним, через стол, Ираклия Лаврентьевича, который во все время не спускал с него глаз.

— Дяденька, да что с вами! Вы так странно смотрите на меня! — заметил князь.

— Начинай свою историю! — серьезно проговорил старик. — Не смейся... сегодня не до смеха... Твои глаза сегодня так же меняют свой цвет, как меняли его глаза древней Ниссии. По этим изменениям я читаю многое.

— Ну, денек! — воскликнул, затягиваясь трубкой, молодой человек. — Думаю, что редко кому выпадают такие. Там — вздор не вздор, а что-то похожее на правду. Здесь — изменение цвета глаз и какая-то Ниссия. Да что это за Ниссия, скажите, пожалуйста, дяденька Ираклий?

— Ниссия... это была дочь бактрийского сатрапа Мегабаза, — отвечал спокойно старик.

— Ого, далекомько-таки хватили, дяденька! — не утерпел, чтобы не пошутить, князь.

Старик спокойно продолжал:

— Она была необыкновенная красавица, и что замечательнее всего: глаза ее меняли свой цвет, именно — зрачки. Царь Кандол женился на ней, и странное свойство ее глаз было причиной смерти последнего из Гераклидов и воцарения династии Мермнадов.

— Стало быть, влюбился кто-нибудь в эти чертовские глаза? — спросил князь.

— Ты не ошибся, именно — влюбился, — отвечал старик.

— Вроде, стало быть, троянской Елены?

— Отчасти.

— В первый раз слышу такую историю.

— Но ты не забыл о своей истории, — напомнил Ираклий Лаврентьевич.

— Ах, да, история преинтересная.

Тут князь рассказал все, что с ним случилось возле Апшеронской часовенки, и далее, как был убит на его глазах, рядом с ним, молоденький артиллерийский подпоручик. Ираклий Лаврентьевич слушал князя с сосредоточенным вниманием и по мере приближения рассказа к развязке бледнел все более и более. Князь заключил рассказ свой сообщением, что выстрелил из окна мезонина какой-то сумасшедший и что ему, князю, не мало-таки пришлось возиться с трупом несчастного подпоручика.

— В вашем вкусе история, дяденька Ираклий, как хотите, — закончил князь. — Признаюсь, однако ж, что конец истории смутил

несколько и меня. Я впал даже в какое-то мрачно-идиллическое настроение, и была минута, когда я готов был поверить бредням хорошенькой цыганочки.

— Но не поверил! — сказал хмуро старик.

— Нет... зачем же...

— Напрасно.

Князь посмотрел на дядю Ираклия и заметил его бледность, но ничего не сказал. Вместе с бледностью нижняя часть лица старика слегка вздрагивала. По всему заметно было, что его что-то сильно волновало. Князь счел нужным помолчать, в свою очередь, сделал серьезную мину и, словно бы углубившись в размышления, стал меланхолически затягиваться трубкой.

Взял трубку и «дядя Ираклий». Он курил медленно и глядел в темный угол кабинета. Клубы дыма он выпускал дрожащими губами.

«Ну, — думал молодой князь, — старик впал в магию». Так обыкновенно молодой человек называл нервную задумчивость старика, которого называл дядей.

Молчание не прерывалось долго.

Расскажем, кстати, кто такой был «дядя Ираклий».

Ираклий Лаврентьевич, по фамилии Иванчеев, был по происхождению не русский: он был турок и попал в плен в первую турецкую войну, в 1769 году, при императрице Екатерине. Родился он где-то на берегах Тигра. В России он крестился, вступил в супружество с русской барыней, нажил небольшое состояние и поселился в Москве. От природы, как уроженец Аравии, пылкий и мечтательный, он был суеверен и мистик. В 1780 году Петербург посетил знаменитый европейский шарлатан Калиостро. Высшее петербургское общество было взволновано его появлением: своими сеансами он заинтересовал даже самого светлейшего князя Потемкина. Шарлатан добивался чести быть представленным великой императрице, но та не только не позволила пройдохе пробраться во дворец, но приказала выпроводить его из Петербурга. В самый разгар таинственных сеансов Калиостро Иванчееву пришлось быть в Петербурге. Он попал на сеанс, когда Калиостро вызвал из загробной жизни тени некоторых знаменито-

стей. Вызовы эти до того были обставлены хорошо, что на всякого, видевшего их, производили потрясающее впечатление. Суеверный Иванчеев ошалел и, поверив в могущество графа-шарлатана, добился с ним свидания. Во всю свою жизнь Иванчеев не сообщал никому, о чем у него шла речь с Калиостро, но только со дня этого свидания он забредил магией. В кабинете его начали появляться всякого рода физические и химические инструменты, черные ящички, какие-то благовония и книги вроде «Ключ к тайнствам природы» Эккертсгаузена, «Двенадцать ключей» Василия Валентина, «Бесплотные силы» Эммануила Сведенборга. Еще довольно молодой человек, Иванчеев уединился в своем кабинете и начал делать опыты. Несколько удачных опытов, несколько, хотя мелких, но удачных предсказаний окончательно и бесповоротно заставили Иванчеева сделаться подобием какого-то алхимика. В чаду химических опытов он как-то сразу постарел и осунулся. Лицо его, прежде красивое, с большими черными глазами, с типическими оттенками южного уроженца, приняло суровый и жесткий вид. Гла-

за как бы сузились и углубились в орбиты. Волосы поредели. Он стал носить зеленого цвета халат на меху, маленькую шапочку зеленого сафьяна и очки с зелеными стеклами. Про алхимика начали носиться в Москве таинственные слухи. Некоторые называли его Брюсом.

Мы застаем Иванчеева в пору его известности. Молодой князь, сидящий теперь перед ним, познакомился с Иванчеевым год тому назад. Старый алхимик, избегавший вообще коротких знакомств, полюбил молодого человека за его смелый, открытый характер, за его ум и даже добродушно прощал ему насмешки, иногда довольно резкие, над алхимией, за которую другого он не пустил бы на порог своего дома. Молодой человек нередко так же присутствовал при алхимических опытах Иванчеева, чего другим алхимик ни в коем случае не позволял. В этом отношении не было исключения даже для семьи. Молодой князь называл алхимика просто «дядя Ираклий». Дядя Ираклий прервал молчание первый.

— Ты говоришь — цыганка... где она?.. Ты

мне ее покажи...

— Да она просто нищенка и сидит у вашей Апшеронской часовенки, — поторопился ответить князь.

— Ты ее видел в первый раз?

— В первый.

Иванчеев покачал головой.

— Главное: прехорошенькая собой, — сообщил князь.

— Это вздор, — сказал алхимик.

— А что же не вздор? — подзадоривал князь алхимика.

— То не вздор, дружок мой, что она тебе сказала правду, — проговорил несколько резким и дрожащим голосом алхимик.

— Ну, уж как хотите, а этому я, дяденька, не верю!

— Не веришь? Прекрасно! — начал каким-то поучительным тоном алхимик. — Не веришь потому, что мало знаешь историю. Есть множество примеров в истории, что разным лицам предсказывали час их кончины, и это всегда сбывалось. Я могу по этому поводу насчитать тебе несколько имен. Пустынник Геродиан предсказал византийскому импера-

тору Маврикию смерть со всеми его детьми. Любимец кастильского короля Иоанна II, Альваро, знал день и час своей кончины. Ему это предсказал астролог, и он умер в предсказанный день — 5 июля 1452 года. Шотландский король Иаков I, осаждая город Перт, знал, что он умрет в стенах этого города. Генрих II умер на турнире — ему это было предсказано. Предсказана была смерть и Генриху VI. Достаточно, думаю, и этих примеров, чтобы ты хоть несколько прикусил свой язычок.

— Да ведь это, дяденька, все вычитано вами, — возразил молодой князь. — Вычитано у каких-нибудь Сваммердамов, Альбертов Бемов и других господ, занимавшихся чертовщиной. Впрочем, что ж вы нашего Олега-то пропустили, дяденька?

Ираклий Лаврентьевич не обратил внимания на шутливое замечание князя.

— Наконец, я сам на себе испытал предсказание. Какая-то арабка предсказывала мне в детстве, что ежели я не утону, то умру не в своей вере. И точно: я раз, юношей, чуть ли не утонул в Евфрате, а что умру в православии — не подлежит сомнению.

— Уж если пошло на предсказания, то по этому поводу и я могу рассказать маленький случай, — сказал князь. — В Пятигорске я знал старика лет восьмидесяти. Он увидел черного таракана. Вот, говорит, смерть моя идет. В тот же день старик умер.

— И тебе это смешно! — произнес хмуро алхимик.

— Не смешно... да таракан-то при чем, дяденька! Таракан-то!

— Довольно, умерь свою прыть, дружок мой! — проговорил серьезно и настойчиво старый алхимик. — Слушай.

Старик поправил очки и вскинул из-под них взгляд на князя. Князь сделал серьезную мину и сидел, как школьник, желающий внимать своему наставнику.

— Слушай. Ты должен выслушать меня, — продолжал, все более и более принимая серьезный вид, алхимик. — Сегодня новолуние — день, в который, по нашим вычислениям, можно сообщать добытые астрологией тайны. Будущая судьба твоя давно занимала меня. Я составил твой гороскоп. В первой четверти будущего XIX столетия совершатся в Ев-

ропе великие события, явится великое знамение, появится великий человек, родившийся в год моего плена русскими, то есть в 1769 году. Будет два года обильный урожай, прольется много крови, и среди этих необычных событий ты будешь из виднейших...

Старик умолк. Князь сделал еле заметную комическую гримасу. Тон алхимика готов был рассмешить его, и он удерживался только потому, что не желал оскорбить старика, которого он считал мономаном.

— Ну, а вы, дяденька, где будете во время этих необычных событий? — не утерпел, чтобы еще раз не пошутить, молодой князь.

— Я буду свидетелем этих событий, — сказал, не поднимая головы, алхимик.

— Вы, дяденька, раньше говорили про мою будущность что-то другое... Впрочем, это все равно... — Князь встал. — Сообщу вам, Ираклий Лаврентьевич, новость: я решил поступить в военную службу.

— В военную? — как бы очнулся алхимик и тоже встал.

— В военную. Начну служить: по русской пословице: пан или пропал. Вот, вероятно,

Ираклий Лаврентьевич, гороскоп ваш и предсказывает, что я буду вторым, а то, может, и третьим, а то, может, и четвертым... Александром Македонским!

Сказав это, молодой князь добродушно и заразительно расхохотался на всю мастерскую алхимика.

Разоренный год[2]

I

ВЕЛИКИЙ КОРСИКАНЕЦ

*Родился он игрой судьбы случайной
И пролетел, как буря, мимо нас.
Он миру чужд был. Все в нем было
тайной —
День возвышенья и паденья час...*

Лермонтов

Прошло много лет после тех маленьких событий среди маленьких людей, которые совершились в Грузинах. В свое время мы встретимся с героями тех событий. Теперь речь о других.

Прошло много лет, а вместе с тем пронеслось над миром и много знаменательных событий. Великой Екатерины на Руси не стало. Умер император Павел. Царствовал император Александр. Отгремел французский кровавый террор, но Западная Европа, под влиянием его, все еще волновалась и была полна

неурядиц. Неурядицы эти задевали и Россию.

Сын неизвестного нотариуса города Аяччио, на острове Корсика, выплыл из ничтожества и потрясал своим оружием царства и троны. Мир удивлялся ему, и среди этого удивления что-то гнетущее висело над Европой. Начиналось нечто новое, нечто дотоле невиданное. Этот человек был для всех загадкой. Многие уверяли, что ему, во всех отношениях, суждено было изменить вид вселенной. Он породил много смут, но его оправдывали. Говорили: «он гений, а гений тем и отличается от простых людей, что действует не для себя, но для человечества». Это был счастливый игрок, а мир всегда удивляется счастливым игрокам. У этого человека было много недостатков. Один из новейших великих людей, держащий Европу, вот уже лет пятнадцать, в осадном положении, выразился: «обладая известными недостатками, легко добиться среди людей высокого положения, гораздо легче, чем человеку, одаренному всеми возможными добродетелями». Это вполне может относиться к великому корсиканцу. Слава бежала по пятам этого человека. А слава, по выраже-

нию одного знатока сердца человеческого, часто есть не более как торжество банальности. Популярность в большинстве случаев бывает синонимом вульгарности. Великий корсиканец в достаточной степени обладал тем и другим. Человека этого сделала мировым гением грубость, неразборчивость и посредственность, которыми он обладал в более высокой степени, чем грубость, неразборчивость и посредственность обыкновенных людей. Дело известное: человек, на долю которого выпал большой успех, но действующий и мыслящий, как действует и мыслит масса, становится любимцем *толпы*, приобретает славу. Наряду с ненавистным и презренным, человек этот, однако ж, обладал и необыкновенным величием. Смесь эта делала из него идола, которого современники не могли постичь, но на которого указывали как на новейшего Цезаря. В отношениях со всеми, не исключая и женщин, новейший Цезарь был откровенен до цинизма и — главное — ненавидел не слабости и пороки людей, а то глубоко развращенное фарисейство, которое прикрывает маской добродетели свою внутреннюю грязь.

Он лгал, но лгал смело, как человек, сознающий свою неоспоримую силу, и его ложь была красива, обаятельна и достигала своей цели. Он был неумолим, жесток и говорил: «милосердие далеко не завидная добродетель». Будучи жесток, он в то же время любил все, что располагает к мечтательности: песни Осиана, подделанные Макферсоном, сумерки, меланхолическую музыку. Святыни для этого человека не существовало: он ни во что не верил, что могло быть свято и непостижимо. Зато был суеверен и верил в привидения. Иногда, приходя вечером из своего кабинета в салон своей жены, он приказывал надевать на свечи абажуры из белого газа, и среди глубокой тишины рассказывал окружающим истории о привидениях или слушал, как рассказывали их другие. Истинное величие и истинное великодушие были ему совершенно чужды, он даже не понимал никакого вполне благородного поступка и гордился подобным свойством. Он говорил: «Знайτε, что я не отступил бы ни пред какою низостью, если бы только она была мне полезна. В сущности, нет в этом мире ничего ни низкого, ни благо-

родного. По натуре я низок — низок в полном смысле этого слова, и могу вас, — он говорил это Талейрану, — уверить, что нисколько не задумаюсь сделать то, что привыкли называть бесчестным поступком». По выражению г-жи Ремюза, придворной дамы его двора, место, где обыкновенно находится у человека сердце, оставалось у него пустым. Дам и девиц этот новейший Цезарь драл за уши, а на поле битвы — сорил людьми, как пешками. И что же? Этот новейший Цезарь, этот великий корсиканец, этот маленький капрал, этот Наполеон, наконец, глядел на славу глазами голодного лирика, приютившегося где-нибудь на чердаке. Он говорил: «Человеческая гордость создает для себя особую, для себя желанную публику в том идеальном мире, который называют потомством. Человек помышляет, что через сто лет красивый стих увековечит его славу, великолепная картина воспроизведет его подвиги, и тогда воображение его воспламеняется, поле битвы не представляет для него опасности, в громе пушек он слышит лишь звук, который через целое тысячелетие передаст его имя будущим поколениям!»

Человек с такою смесью ума и величия, дерзости и вкрадчивости, пошлости и неразборчивости, крайнего атеизма и суеверия среди своих современников-французов, утомленных блеском двора двух Людовиков и террором, не мог не стать выше всех головою, не мог не сделаться такого переходного поколения идолом! В нем, в этом маленьком корсиканце, странным образом соединился тип тщеславного придворного Людовика XIV, хотя он не вырастал при дворе, и тип солдата, готового всю жизнь провести среди бивачных огней. При всем этом он иногда падал в обморок, как женщина.

Такой человек был в высшей степени любопытен. Из любопытства вытекла своеобразная любовь. Мало было людей, которые бы не верили ему и не отдавались бы его прихотям. А сколько ничтожных людей он сделал героями! Сколько людей, веря в его счастливую звезду, положили за него головы! А он? Он смеялся надо всем этим, он презирал людей, он называл мир грязной бойней, сборищем скотов и мерзавцев.

И точно, по его прихоти, в угоду ему, Евро-

па в десяток лет превратилась в чудовищную бойню: в наполеоновские войны погибло 2 600 000 французов и 3 500 000 других народностей, то есть всего 6 100 000 человек. Только эпидемические заразы могут отнимать у мира столько жизней. И в самом деле, какое близкое сходство существует между феноменальным характером поприща Наполеона и образом действий других язв, например эпидемического мора, имеющих такое же определенное назначение. Во все время, пока Наполеон исполнял его, ничто не могло устоять против него: самые дерзкие покушения удаются, как бы геометрическая необходимость, самая нерасчетливость и грубые ошибки обращаются для него в пользу и триумф. Но когда миссия его стала уже приближаться к выполнению, то последовал целый ряд невзгод: строго рассчитанные планы не удаются, обаяние начинает меркнуть, и наконец простой рассудок оставляет его. Бывший гений делает ошибку за ошибкой, но они производят уже не так, как прежде, полезные для него, а естественные свои пагубные последствия: кажется, сам он трудится на свою гибель... Под

конец добычи уже не давались герою, миссия его была окончена, и он сам напоминал того сказочного, состарившегося волка, который сам искал своей смерти.

Станный человек! Загадочный человек!

Своей загадочностью этот человек многих пугал, и многие предвидели, что такая могучая слава вскружит ему голову и приведет к неминуемой гибели. Но были люди, и таких было более, которые верили его счастливой звезде, верили, что она не померкнет до гробовой доски его, и рабски берегли его. Особенно боготворили его женщины. Замечательный физиологический факт, подтверждаемый не одним современником: многие женщины во всех концах Европы до того были «влюблены» в Наполеона, что, не выдавши его никогда, на веру изображений на портретах и деньгах, рожали детей, удивительно похожих на императора французов...

II КОМЕТА

На комету 1811 года многие суеверные современники смотрели, как на какое-то предзнаменование.

Араго

Лето тысяча восемьсот одиннадцатого года отличалось почти повсеместно в Средней Европе тропическими жарами. Страшные засухи причиняли неурожай. Не избежала этой участи и Россия, особенно западная. Горели леса, на людях появились заразные болезни. Воздух наполнен был дымом. Почти во все лето солнце, не затемняемое ни малейшим облаком, являлось сквозь густой дым в виде большого раскаленного шара: от восхода до заката можно было смотреть на него невооруженным глазом.

В августе появилась комета. Появившись еле заметной туманной звездочкой, с каждым днем она увеличивалась и становилась яснее и отчетливее. Наконец она превратилась в большую, хвостатую звезду, свет кото-

рой был равен одной десятой света полной луны. Хвост ее был весьма блестящ, но постоянной длины не имел. По астрономическим измерениям наибольшая величина хвоста простиралась на сто семьдесят два миллиона двести тысяч русских верст. По глазомеру хвост кометы казался длиною сажени две, а шириною в конце около полуаршина.

С каждой неделей хвостатая звезда становилась все грозней. Народ в городах и селах России толпами глядел на эту чудную звезду и говорил:

«Божье знаменье!»

«Верно, прогневался Господь на нас, вот и послал звезду такую».

«Пометет она землю русскую».

«Согрешили уж не путем, ну вот и дождались».

К бедам народ русский чуток. Уже не было ни для кого на Руси тайной, что Наполеон что-то затевает против России. В сведущих кружках знали более, но как-то не верили надвигавшейся грозе. Еще весной 1810 года французский посол Коленкур был отозван Наполеоном из Петербурга за то, что обратил

внимание императора Александра на властолюбие императора французов.

В день появления кометы, пятнадцатого августа одиннадцатого года, дипломатические отношения России с Францией были прерваны. Граф Нессельроде, негласно наблюдавший за ходом дипломатических переговоров, из Парижа выехал. Наполеон, как за предлог своего к России нерасположения, ухватился за только что составленный Россией тариф, который будто много вредил французской торговле. Сам император Александр был уверен в неизбежности новой войны с Наполеоном и решил сам предводительствовать армиями. Но поклонник Наполеона, канцлер граф Румянцев, думал противное: он до самого вторжения Наполеона в Россию полагал, что дело кончится миролюбиво. За свою недалёковидность старый, болезненный канцлер был, и занимая должность канцлера, устранен от всякого участия в начинавшейся великой борьбе.

Пятнадцатое августа было знаменательным днем и для Наполеона: он в этот день родился.

Тотчас же после дипломатического собрания, на котором Наполеон, в разговоре с послом Куракиным, необыкновенно горячился и относился пренебрежительно, он отправился к собравшимся по случаю его дня рождения гостям.

Было довольно поздно. Пробираясь вместе с Мюратом, мужем своей сестры Каролины, в залы, где собирались гости, Наполеон был извещен о появлении кометы.

— Га, любопытно! — произнес он. — Где ж она?

Ему указали на небольшую хвостатую звездочку, которая только что освободилась из-за насевшей на нее тучки. Наполеон довольно долго глядел в свою зрительную трубу на появившуюся звезду, потом обратился к Мюрату:

— Посмотри.

Мюрат посмотрел.

— Ну, что?

— Явление, достойное внимания, ваше величество.

— Ха-ха! Еще бы! — засмеялся сухо император. — Надо пригласить какого-нибудь астро-

лога: пусть растолкует, что это значит?

— Думаю, ваше величество, — сказал Мюрат, — что мы и сами можем объяснить ее появление.

— А ну, объясни.

— Появление ее именно сегодня, в день рождения вашего величества, не случайное. Она путеводная звезда вашего величества.

— Куда?

— В Россию.

— Га, ты прав, Иоахим! Я думал то же самое. Но скажи: где ты научился такой удачной астрологии? Уж не в Пиренеях ли, в своей деревеньке Бастиде? Да?

— Да, ваше величество, — отвечал с добродушной улыбкой король неаполитанский. — Еще будучи пастухом, я узнавал по звездам многое.

— Прекрасно. Итак, Иоахим, дорогой зятюшка, — Наполеон тронул Мюрата за плечо, — да будет эта звезда моей путеводной звездой в Россию!..

III

В ЧЕРНОМ ПОКРЫВАЛЕ

*И вошла она тихой стопой:
Кто она — он не знал и не ведал.*

Шотландская баллада

Тюйлерийский дворец сверкал огнями. Сотни гостей самых знатных и представители иностранных дворов собрались приветствовать императора французов, находившегося в то время в блистательнейшей эпохе своего могущества. Тогда он был средоточием надежд и опасений почти всей Европы.

Молодая императрица, Мария-Луиза, заменившая Наполеону отверженную Жозефину, с очаровательной предупредительностью принимала гостей и всякому находила сказать что-либо любезное. Среди гостей, наконец, появился сам император. Он тотчас же сделался центром, вокруг которого все толпилось и старалось высказать свою преданность. Император говорил мало, больше о пустяках, но его слушали со вниманием и всякому слову

его придавалось великое значение. Он шутил с дамами, но шутки его отзывались казармой. Все вокруг него сверкало золотом, блистало драгоценными камнями, но он сам одет был просто. По этому случаю он говорил: «Не всякий имеет право одеваться просто». Кто-то заметил, что император будто не в духе. Все общество притихло. Император уединился с Мюратом и сидел в задумчивости. Послышались тихие и медленные голоса итальянских певцов с едва раздававшимся аккомпанементом немногих инструментов. Наполеон любил подобное пение и музыку. После них становился более веселым и общительным. В самом деле, император, выслушав пение, стал несколько веселее. Он сообщил обществу о появлении кометы. Пошли толки, догадки, но все это делалось тихо, говорили все почти шепотом. Один только император, когда говорил, то говорил громко, сопровождая свою речь резкими жестами и топая иногда ногой об пол. Чаще всего гости, особенно на домашних вечерних собраниях, не хуже царедворцев Людовика XIV, или хранили почтительное молчание, или были озабочены тем, как

бы не сказать чего-либо такого, что могло не понравиться императору. Поддерживать разговор с ним, отстаивая против него свое мнение, считалось неслыханною дерзостью. Комета заняла общество надолго, потому что сам император любезно поддерживал разговор. Он шутливо, с развязностью, присущею избалованным счастьем людям, передавал всем, что это его путеводная звезда, которая поведет его еще далее того, чем он зашел.

— О, я верю в свою звезду! — смеялся он. — Моя звезда мне никогда не изменяла. Даже сама смерть боится меня. Когда я — помните — выпал из коляски и ударился грудью о мостовую, то потому только остался жив, что не хотел умереть. «Не умру! Не умру!» — твердил я сам себе, пересиливая боль, и действительно...

Император вдруг остановился, медленно оборачиваясь к стоявшему подле него за креслом Мюрату.

— Опять она! — прошептал император.

— Кто, ваше величество? — наклонился к повелителю Мюрат.

— Да все та же... незнакомка...

Мюрат недоумевал.

— А, да ты не знаешь, ты не видал, — проговорил император и встал.

Он сделал Мюрату знак. Тот последовал за ним. В кабинете император сказал:

— С некоторого времени, Иоахим, мне попадает на глаза какая-то странная особа. Она женщина и хороша собой. Я ее много раз видел в церкви, в Сен-Клу. Все это ничего, и в этом ничего нет занимательного. Но занимательно то, что она два раза предупреждала меня о грозившей мне опасности. Откуда она знала их? Раз она предупредила меня, чтобы я не ездил в коляске на лошадях, подаренных мне прусским королем. Тебе известно, что в коляске найдена была бомба. В другой раз, — что тебе тоже известно, — совершился взрыв в улице Сен-Никез. Тайнственная незнакомка и при этом случае заранее подала мне записку, чтобы я не ездил улицей Сен-Никез в оперу. Теперь я вижу ее снова, и мне кажется, что она пробралась во дворец и очутилась среди моих гостей не даром. Как она пробралась сюда? Поди, приведи ее ко мне. Мне надо с ней поговорить.

— Но... ваше величество, приметы этой особы? Я ее не знаю, не видал.

Наполеон задумался.

— Приметы? Правду сказать, я и сам недостаточно рассмотрел ее. Но сегодня она в черном покрывале. Волосы в локонах, прекрасного каштанового цвета. Ты сам увидишь... ты найдешь... Она совсем не похожа на наших придворных дам.

Мюрат быстро удалился. Не прошло и двух минут после его ухода, как дверь в императорский кабинет тихо отворилась. Наполеон оглянулся, думая, что возвратился Мюрат. Вместо Мюрата он увидел перед собой загадочную незнакомку. С видимой целью спрятать свое лицо она стояла в тени.

— А, вы здесь! — произнес любезно император. — Подойдите сюда, садитесь. Я очень рад, что счастливый случай привел вас ко мне.

Незнакомка не трогалась с места.

— Император, — слышался ее тихий голос, полный какого-то таинственного, пророческого смысла, — не ходите в Россию: на вас обрушится вся Европа. Не ходите.

— Милое дитя! откуда вы знаете это? — спросил император и хотел подойти к незнакомке, но той уже у двери не было.

Император вспыхнул:

— Черт возьми, да это какая-то фурия в прекрасном образе!

Он хотел выйти, но навстречу ему вышел Мюрат и сообщил, что таинственной незнакомки нигде не отыскано.

— Как не отыскано! — она у меня была сейчас же! — воскликнул император.

— Была?! — удивился Мюрат. — Но где ж она?

— Только что вышла. Но ты не беспокойся искать ее. Что ей надо было сказать, она сказала: еще раз предупредила меня об опасности.

— Какой, император? — воскликнул пылкий Мюрат, готовый тотчас же идти навстречу всякой опасности.

— Пустяки! — узнаешь на полях России... — принужденно рассмеялся император.

IV

НАД БЕРЕЗИНОЙ

В глухой лесистой стороне, среди болот и Озер недалеко от Бобруйска, на берегу реки Березины, раскинулась богатая красивая барская усадьба. Громадный дом — род замка — с колоннами и статуями, во вкусе знаменитого архитектора графа Растрелли, стоял на крутом возвышении и далеко был виден со всех сторон. Обширный сад и парк обложили его своим зеленым кольцом, так что дом-замок казался поднимающимся среди вершин могучего леса. Два ряда старых и толстых тополей указывали дорогу к замку, которая сперва тянулась берегом Березины, а потом уже, круто поворачивая, пролегла иод сенью тополей. Замок сверкал белизной и со своим высоким, крытым ярко-красною черепицею, и со своим высоким ярко-бронзированным шпилем казался издали каким-то заброшенным в глуши храмом. Глушь, в самом деле, вокруг замка тянулась на десятки верст. Прямо перед фронтом замка, за Березиной, расстилались с мел-

кими заводьями болота. По ним росла некрупная ольха и такой же осинник. Далее стеной стояла хмурая сосновая дებря. Вправо от замка тянулись поемные луга с небольшими березовыми лесками, влево — поля, нивы, среди них озера и опять лес, то смешанный, то сосновый. Позади замка, тотчас же за парком, раскинулась небольшая деревенька с довольно хорошенькими и чистенькими домиками, посреди которой возвышалась беленькая, как снег, часовенка. Собственно, это была не деревенька, а нечто подобное, там жили вовсе не крестьяне, а дворовые замка, и там отводились помещения для наезжавших в замок незначительных гостей. Там же проживали и другие особы, служившие при замке не в качестве слуг, но в качестве артистов. За деревенькой снова начинался почти бесконечный лес, сливавшийся с пинскими болотами.

Невзирая на окружающую замок угрюмую природу, он носил название — Веселая Ясень. В замке Веселая Ясень, в самом деле, жилось шумно и весело. Владелец его граф Ромуальд Валевский любил пожить хорошо и буйно, и

потому у него и другим, кого он только приглашал к себе, жилось также хорошо и привольно. О привольном житье в Веселой Ясени шла молва по всей Белоруссии. Пирыв Веселой Ясени были так же известны, как и пирыв былое время в знаменитом Шклове генерала Зорича. В Веселой Ясени всегда можно было найти десятка два каких-либо авантюристов, пользовавшихся хлебосольством графа и проживавших в замке, как у себя дома. Причина этого заключалась в том, что и сам граф Валевский, вопреки своему званию и состоянию, был отъявленный авантюрист. Он, по словам Костюшки, был в Америке, блуждал там по бесконечным пампасам — степям Южной Америки, поросшим густою и высокою травою, чуть не попался в плен к индейцам и возвратился снова в Европу. Из Европы он попал на Мадагаскар, где вместе с другим авантюристом, Фиялковским, правил островом в качестве какого-то министра. Потом он служил в войсках Наполеона и, дослужившись до капитанского чина, кинул Францию и возвратился на покой в свою родимую Литву. Тут-то и началась его веселая жизнь в родо-

вом замке. В своих пирушках он подражал пирушкам тех пышных магнатов, которыми так гордилась Польша и Литва в прошлом столетии. Во всех других отношениях он был полный космополит, за что многие польские патриоты порицали его и даже за глаза называли изменником. Граф знал об этом и от души смеялся. Он был настолько умен, что уже не верил ни в какое возрождение Польши, по крайней мере, в том политическом виде, в каком она существовала до 1794 года. Над герцогством Варшавским, созданным Тильзитским миром, он просто глумился. В то время такого рода взгляд среди поляков, возлагавших много надежд на французского императора, был не только странен, но даже небезопасен. Графа предупреждали, графу делали заявления, что его образ мыслей неудобен и в будущем не обещает ему ничего хорошего, но граф молчал или, при случае, открыто не сочувствовал польским бредням. При этом он не сочувствовал ни России, ни Наполеону, надвигающему войска на западные наши границы. Он любил Наполеона, как хорошего искателя приключений, но в постоянство счастья

его не верил и говорил: «Я перестану верить в Бога, если этому человеку суждено спокойно умереть на престоле». Все, знавшие графа близко, решили, что он выжил из ума, и вследствие этого многое ему прощали, хотя ни в каком прощении граф не нуждался. Он жил в своих Веселых Ясенях в высшей степени самостоятельно и даже из своего замка задавал обществу тон. Так называемая, введенная Наполеоном, континентальная система прекратила в Россию ввоз всякого рода дорогих тканей. В шелковых и шерстяных материях и тонких полотнах почувствовался положительный недостаток. Граф первый в своей местности отказался от роскоши: вместо сюртука из дорогого английского сукна он надел холщовую венгерку, сделал такой же плащ и фуражку. Когда граф появился в таком костюме, то все посмотрели на него с изумлением. Вскоре, однако ж, в такие же венгерки нарядились и другие, а потом — это сделалось в крае всеобщею модою, и одеваться иначе считалось дурным тоном. Граф изгнал также со своего стола французские вина, которых доставка сухим путем обходилась весьма доро-

го, и заменил их напитками местного производства. С графом несколько примирились. Но что более всего примиряло всех с графом, так это его хлебосольство, чисто славянское — открытое и доброе, и все его хлебосольством пользовались до излишества. Так и говорили в Могилевском наместничестве: «Голоден, иди к графу Ромуальду — накормит».

V

БЕДНАЯ ПЕВИЦА

Она была бедна, ничтожна, неизвестного происхождения, но обладала красотой и пела — о, она восхитительно пела!

Панаев

Со стороны России в двенадцатом году, казалось, все приготовления были в наступательной войне с Наполеоном: войска стояли на рубеже России. Главная квартира первой армии, под начальством Барклая де Толли, находилась в Вильно. Начальник второй армии, князь Багратион, имел главную кварти-

ру в Пружанах. Третья, западная, армия, под начальством генерала Торماسова, находилась в Дубно и окрестностях. На реке Двине, при Дриссе, был устроен укрепленный лагерь. В Риге крепость была приведена в оборонительное состояние. Построена новая крепость — Динабургская, расширены и исправлены крепости — Бобруйская и Киевская. Были заложены весьма важные магазины в Белостокской области и в Гродненской губернии. Наконец, сам император Александр, покинув резиденцию, приехал к войскам в Вильно. Литва приняла императора с благодушием, и многие польские магнаты, обвороченные приветливостью и добротой русского монарха, предлагали ему объявить себя владыкою Польши. Такое отношение литвинов встревожило даже Наполеона, находившегося в Дрездене, и он послал от себя резидента, который бы мог противодействовать влиянию в крае русского правительства.

По поводу пребывания императора в Вильно польские магнаты, сторонники России, наперерыв старались устраивать балы и пирушки. К числу их принадлежал и граф Ромуальд

Валевский, хотя он и не был ничьим сторонником. Ему просто нужен был случай.

О пребывании русского императора в Вильно граф получил известие в Веселых Ясениях.

— Прекрасный случай! — сказал он. — Я уважаю русского императора за его необыкновенную доброту. Почту его, как умею.

Граф приказал созвать как можно более гостей и как можно веселее устроить оргию. Посланные поскакали сзывать гостей во все концы. Гости не заставили себя долго ждать. На другой же день в Веселые Ясени наехало столько народу, что едва хватило места для размещения всех прибывших. Некоторые приехали для того, чтобы хорошо поесть и попить за графский счет, некоторые — узнать кое-что о совершающихся событиях, так как граф, невзирая на то, что жил в глуши, получал одному ему ведомым путем все новейшие известия из политического мира. Назначены были: музыка, пение и катание на шлюпках, для чего у графа были свои музыканты, трубачи, певцы и певицы, свои хорошо устроенные шлюпки на Березине. Тихий и мирный замок

вдруг наполнился шумом, гамом, беготней. В саду и парке слышались звонкие голоса и смех. Среди гостей было немало женщин и девушек, привезенных мужьями, отцами, матерями и братьями. Сам граф принимал гостей приветливо и радушно. На замке развевался флаг.

— На этот раз я покажу вам, господа, московское чудо, — сообщал граф гостям.

Все недоумевали, что это за «московское чудо», и ждали.

С утра третьего дня замковый колокол сообщил гостям о начале пирушки. В громадной, с колоннами под малахит, зале были устроены столы. В этой же зале, в глубине, находилась сцена. Рядом была очищена другая зала под танцы. Пирушка началась провозглашением самим графом странных тостов за благоденствие и процветание острова Мадагаскара, потом Америки. И все выпили за благоденствие Мадагаскара и Америки, решительно не понимая в этих тостах смысла. Затем граф провозгласил тост за двух философов: Руссо и Вольтера, и двух императоров: Александра и Наполеона. После этого граф

предоставил всем право провозглашать то-сты за кого угодно. Граф гостей не стеснял: в его замке этикета не существовало — всякий делал, что ему угодно и когда угодно.

К концу завтрака, который, помимо завтрака, можно было назвать чем угодно, когда гости запивали жирные и вкусные блюда старым венгерским, на сцене появилось «московское чудо».

Чудо это было — оригинальной красоты девушка, не то цыганка, не то грузинка, с необыкновенно крупными, черными глазами. Она была одета в какой-то странный костюм — смесь красного с желтым, что придавало ей еще более оригинальности. Красота ее и статность — признак великолепного сложения форм — сразу поразила всех. Молодежь ближе придвинулась к сцене. Старички зорко приглядывались на красавицу.

— О, граф всегда доставляет гостям что-нибудь необыкновенное! — слышалось среди гостей.

Дамы, молча, выжидали.

Цыганка запела. Она пела какую-то венгерскую песенку, в которой только, и слышалось

«гой» да «гей», но эти «гой» да «гей» настолько были чарующе поразительны в устах певицы, что, когда она окончила, восторгам всех присутствующих конца не было. Восторгались кавалеры. Восторгались дамы. К графу приступили рассказать, откуда он добыл такое чудо.

— Из Московии, — говорил граф.

— Но как такое сокровище могли отдать вам?

— О, она мне стоит сто тысяч золотых! — смеялся граф.

На самом деле певица эта графу ничего не стоила. Незадолго перед этим граф был в Москве. Человек по-своему оригинальный, граф имел обыкновение таскаться по разным закоулкам Москвы с целью приглядываться к русской жизни, которая его занимала своеобразным складом. Возле какого-то кабачка стояла толпа народа и слушала певицу, которая кривлялась на рваном коврике. Граф подошел к кабачку. Голос певицы поразил его. Она пела бойко, пела какую-то скабресную песенку в русском вкусе и с тамбурином в руках прыгала, как коза. Собравшаяся толпа

восхищалась и делала свои замечания уже совсем нескромного свойства. Певица не обращала на замечания внимания, точно не понимая их, и продолжала петь и вертеться. По окончании пения она обходила толпу, молча подставляя тамбурин. Толпа разошлась. Певица подошла к графу: граф кинул в тамбурин золотой.

Певица подняла на него удивленные глаза.

— Мало? — спросил граф. — Так вот еще.

В тамбурине звякнули еще два золотых.

Певица обезумела от радости и, схватив руку графа, стала покрывать ее поцелуями.

Граф отдернул руку — ему почему-то показалось это неловким. Певица благодарила.

— О, Бог поможет барину, много поможет!

Я за барина буду Бога молить.

Валевский заметил, что певица была очень хороша собой, хотя голод, вероятно, и наложил на ее молодые щеки свою печать. Особенно поразили графа ее глаза.

— Ты откуда? — любопытствовал граф.

— О, я того не знаю, барин! — произнесла она тихо. — Говорят, здешняя... цыганка... да в табор не принимают...

Граф спросил об ее имени. Звали певицу Ульяной Рычаговой. Оказалось, что жила она у какого-то отставного солдата, в конуре. За десяток золотых солдат уступил певицу графу, спросил только, где она будет жить. Граф отправил Ульяну к себе в Веселую Ясень, где она, к удивлению других артистов графа, оказалась и хорошей музыкантшей и превосходной певицей. Привольная жизнь в замке Валевского необыкновенно выровняла Улю, выгладила, и она сделалась лучшим украшением Веселых Ясеней.

VI

ВМЕСТО ЦВЕТКА — БРИЛЛИАНТ

*Кого же утро не смутит!
Чье сердце не забьется,
Когда листва зашелестит,
Восток зарей зажжется!*

Красов

Как только свечерело, назначенное катание на шлюпках состоялось. Это была вполне барская потеха. На протяжении версты с лишком по течению Березины раскинулись, разу-

крашенные зеленью и цветами, шлюпки, в которых помещалось десятка четыре гостей Валевского. На передней шлюпке, в бархатных кунтушах, ехали трубачи. За ними тянулась шлюпка с певцами и певицами. Затем уже скользили шлюпки с гостями. Сам граф с певицей Улей и с двумя какими-то шутами, старавшимися смешить графа, сидел в отдельной лодке. По его знаку на передней шлюпке грянули трубачи. Березину точно всколыхнуло. Где-то далеко, на левом берегу, начало отзываться эхо, переливаясь и перекапываясь подобно глухому барабанному бою, так что казалось, играет не один хор трубачей, а несколько. Трубачи играли недолго, оборвав быстро, кроме охотничьего рожка, который долго держал дрожащую грустную ноту и слился с голосами певцов, затянувших хор из модной в то время оперы «Павел и Виргиния». До поздних сумерек шлюпки скользили по водам Березины. На долю хорошенькой Ули снова выпал большой успех. Вечером в залах — тоже. Казалось, все как будто стоворились восхищаться только одною ею. Графа это тешило, и он от души был рад, что

угодил своим гостям. Пирушка продолжалась до рассвета. С рассветом гости кое-как разбрелись по своим местам.

Графу не спалось. Отослав слугу спать, он вышел в сад. Старое венгерское туманило его голову и волновало кровь. Пробираясь липовыми и кленовыми аллеями в глубину сада, он раз десять твердил одну и ту же венгерскую поговорку, касающуюся этого старого, любимого в Польше напитка:

— Нет напитка, кроме вина! Нет вина, кроме венгерского! Нет венгерского вина, кроме того, которое воспитано в Польше!

Повторяя это, граф насвистывал и чувствовал, что он еще не скоро покончит с любимым напитком. В жилах его еще текла горячая кровь. Графу Ромуальду было ровно пятьдесят лет, но он был бодр, здоров, румянец не сходил еще с его щек, и еще ни одна сединка не пробралась в его голову и в его длинный ус. Он глядел молодцом и красавцем. Он был вдов. Не одна маменька, имевшая взрослых дочерей, смотрела на графа с тайной, смутной надеждой, но граф решил остаться одиноким вдовцом. На это у него были какие-то свои

причины, о которых никто не знал. Граф много шалил на своем веку, дрался даже раз шесть на дуэли из-за каких-то вольных красавиц Варшавы и Парижа, и эта привычка к шалости еще не угасла в нем.

Заря занималась все более и более. Висевший над Березиной туман редел. Какая-то птичка проснулась первая над самой головой графа в ветвях громадного вяза и запела с такой торопливостью, как будто старалась скорее отделаться. Вокруг графа все было пусто. На пути ему попадались одни влажные от росы скамейки. Потянуло холодом — графа обдало дрожью, но он продолжал углубляться и был уже в парке. На повороте одной дорожки, сквозь деревья, ему кинулась в глаза освещенная зарею часть какого-то домика. Граф совершенно машинально начал приближаться к домику и припомнил, что он в нем поместил хорошенькую певицу. Легкая улыбка скользнула по губам графа, он повернул и хотел было идти назад, но остановился в раздумье и пошел дальше. Первые лучи солнца уже пробрались в парк и, сквозя между деревьями, ложились яркими полосами на землю.

В траве закипела жизнь. Граф медленно двигался к дому, не то в раздумье, не то в каком-то благодушном настроении счастливого здоровьем человека. Ему дышалось легко. К домику певицы, потонувшему в зелени, с более крупной дорожки вела дорожка узенькая с кустами жасмина по сторонам. Только что граф повернул на эту дорожку, как лицом к лицу встретился с Улей. Граф, удивленный, остановился. Уля немного перепугалась. Она смотрела на графа — и из больших глаз ее светились лучи доброго и робкого света.

— Как рано встаете! — заметил граф, заговаривая с ней почти в первый раз со времени приезда ее в Веселую Ясень. Граф своих артистов видел редко и почти не знал: это было дело управляющего. Уля среди них не составляла исключения. Граф только удивился ее голосу. В первый раз он обратил на нее особенное внимание вчера. «Гм! — подумал он тогда, — красавица, достойная внимания!»

Уля стояла перед ним с непокрытой головой, в белой холстинковой курточке, обшитой золотым позументиком; синяя юбка спускалась до земли. В этом бедненьком наряде

Уля казалась особенно милой и полной здоровой свежести. Все это не ускользнуло от пытливого взгляда графа, и он молча и несколько бесстыдно любовался ею. Уля краснела до ушей и не знала, куда девать свою особу. Чтобы хоть несколько успокоить смущенную девушку, граф разговорился.

— Хорошо вам у меня? — спросил он.

— О, совсем хорошо! — произнесла искренне Уля.

— А чем?

— Граф добр ко мне и ко всем.

— А еще?

— Такой жизни, как у графа, я прежде не знала.

— А петь тебе не трудно? — Граф подчеркнул слово «тебе» и произнес его с особенной ласковостью в голосе, что, впрочем, Уля не заметила, так как тонкости языка были ей чужды.

— А это у тебя что? — обратил граф внимание на грудь певицы, хорошо округленную, здоровую, на которой, в крошечной петельке курточки, торчал французский ноготок.

— О, это цветок, граф! — переконфузилась

Уля, так как палец графа слегка коснулся ее груди.

— Брось его.

Уля медленно вынула из петельки ноготок, помяла его к руке и кинула в сторону.

— Взамен ноготка вот мой маленький подарок.

Граф вынул из борта своей серой суконной венгерки крупную бриллиантовую булавку и пришилил ее к груди певицы. Та окончательно растерялась. Граф вздрогнул раза два, как человек, проницаемый холодом, потер руки и попросил Улю, если есть, напоить его кофеем.

— О, то можно, граф, у меня есть! — заторопилась Уля, точно радуясь, что и ей представился случай услужить графу, и простодушно веря, что граф в самом деле продрог.

Граф последовал за Улей в ее домик, стараясь держаться сзади: он не мог отказать себе в удовольствии видеть девушку именно в таком роде. Уля шла тяжело, ступала крепко, и при этом стан ее своеобразно качался. Оригинальность эта, соединенная с неуклюжестью, графу нравилась: он не сводил глаз с молодой

девушки.

Солнце стояло уже высоко, когда граф вышел из домика певицы. Вид он имел утомленный, и лицо его краснело пятнами. Заспанный слуга искал графа по саду. Оказалось, что к графу прискакал из Гродно посланный. Это был малый из татар, которые в то время служили у литовских помещиков передатчиками писем и посылок. Друг графа, через посланного, сообщил о переходе Наполеона через Неман, в пределы России, и предупредил, чтобы граф остерегался победоносных гостей, так как они с имуществом обывателей не церемонятся. Новость эта графа несколько не удивила. Что Наполеон будет в России — он знал. Знал также и то, как служивший в армии Наполеона, что солдаты его привыкли к своевольству и грабежу. Зато новость эта обрадовала многих из гостей графа. Большинство поляков видели в Наполеоне какого-то своего спасителя.

В полдень того же дня в графский замок прискакал новый курьер. Это был русский офицер из второй армии.

Граф Сен-Пьер, начальник штаба второй

армии, любезно сообщал графу из Бобруйска, что в Веселой Ясени, по маршруту, назначена временно главная квартира второй армии. В заключение граф просил графа не оставить начальника второй армии, князя Багратиона, своим гостеприимством.

С тем же посланным граф Валевский с не меньшей любезностью отвечал Сен-Пьеру, что он рад дорогим гостям.

Гости графа, узнавшие об этом, поторопились убраться восвояси. Они вовсе не считали русских дорогими гостями.

VII В ВИЛЬНО

*На начинающего Бог!
Изречение имп. Александра I*

— **В**ойна с французами неизбежна! — сказал император Александр в начале весны двенадцатого года.

Необходим был необычайный рекрутский набор. Государь призвал вице-адмирала Шишкова.

— Я читал рассуждение твое в любви к оте-

честву, — встретил его государь. — Имея такие чувства, ты можешь быть ему полезен. Напиши манифест о наборе.

Вскоре после этого появился известный манифест, начинающийся словами:

«Настоящее состояние дел в Европе требует решительных и твердых мер».

Со всех концов России к западным ее границам потянулись с этого времени войска. Из Петербурга туда же выступила гвардия.

Вслед за гвардией на шестой неделе поста, во вторник, в самую распутицу, отправился из Петербурга в Вильно и государь со своею свитою. Его сопровождали: канцлер Румянцев, князь Кочубей, граф Аракчеев, граф Армфельдт, маркиз Паулуччи, Шишков, заменивший Сперанского в должности государственного секретаря, генерал Пфуль, граф Нессельроде и многие другие.

Вильно, древняя, расположенная на холмах столица литвинов, представляла в то время громадный воинский стан. Вокруг города, по его холмам и лощинам, среди его дубрав,

по берегам красивой Вилии и маленькой Вилейки, подобно стаям лебедей, белели палатки собравшихся войск. Всюду грохотали барабаны, гремели марши и сверкали мундиры разных войск. Дороги заставлены были обозами. Везде дымились бивачные огни и бряцало воинское оружие. Из ближних селений в город сгоняли множество рогатого скота. Повсюду сновали прыткие казаки.

В самое Вербное воскресенье, четырнадцатого апреля, император был уже в Вильно. Весь генералитет, на вид блестящий и единодушный, а втихомолку завидующий друг другу и интригующий во главе с военным министром Барклаем де Толли, ожидали государя у заставы и провожали его под пушечные выстрелы до дворца. Во дворце государь принимал депутации от разных виленских обществ. На другой день он в сопровождении, свиты гулял по городу пешком. Пасха прошла в беспрестанных удовольствиях и балах. Народу в Вильно съехалось множество. Не желая тревожить общественного спокойствия, государь при всяком удобном случае говорил, что он надеется на сохранение мира, и этому охотно

верили, так как переговоры между императорами все еще продолжались. Между тем смотри войскам шли своим чередом, шли как-то сдержанно, тихо, как перед бурей. Государь говорил мало, как бы присматривался ко всему, уединялся часто в своем кабинете. В великой голове его созревала великая мысль. Весть о подписании в Бухаресте четвертого мая первых условий мира с турками произвела на государя приятное впечатление: руки его развязывались, можно было действовать смелее. В половине мая государь отправлялся для обозрения войск, расположенных в Шавлях и в Вилькомире. Затем он ездил за Неман.

Лето было в полном развитии своем — погода стояла превосходная. При всеобщих разнообразных удовольствиях все почти забывали о враждебном намерении Наполеона — вторгнуться в Россию.

Двенадцатого июня в Закрете — прекрасном парке подле Вильно, на берегу Вилии — у генерала Бенигсена, известного победителя под Прейсиш Эйлау, был назначен бал. Весь цвет виленского большого света, весь генералитет собрался на этот бал. На бал приехал и

сам государь в мундире гвардейского Семёновского полка.

В этот же вечер, на противоположном от Закрета конце Вильно, в предместье Сனிпишки, в просторной горнице довольно обширного дома, собралось общество офицеров. Все это были большей частью люди молодые и собирались для того, чтобы сыграть партию в бостон или лабет, распить бутылку-другую вина, а кстати, потолковать и о текущих политических событиях. Понятно, что сосредоточием всех речей были два императора и окружающие их штабы. Хозяин дома, Алексей Петрович Ермолов, незадолго перед тем назначенный начальником гвардейской дивизии, был душою всего общества. Он только что приехал из Свенцяи, где расположена была его дивизия. Молодой, расторопный, счастливый успехом, он весело смеялся и уверял, что Наполеон идет в Россию покушать русских калачей — не более, и что он ими подавится в Смоленске.

— Вы шутите, Алексей Петрович, а мне думается: Наполеонов поход — не шутка, — скромно заметил молодой поручик гвардей-

ской артиллерии Граббе, впоследствии известный граф.

— Не шутка! — забавно серьезничал Ермолов. — А почему вам так кажется, добрейший Павел Христофорыч?

— Да уже потому, что Наполеон не какой-нибудь взбалмошный Густав Шведский.

— Вы правы, с ним шутки плохи, но все же таки его наши смоленские девки жгутами отдуют, — продолжал шутить Ермолов.

— Как бы не отдул он нас самих.

— Нас? Доблестных россиян? Ну, нет, с этим я не соглашусь, Павел Христофорыч, как хотите! Помилуйте: у нас Дрисский лагерь, крепость Динабургская, крепость Рижская! Столько крепостей, — смеялся Ермолов, — и нас отдуют! Ого-го! Это уж не много ли будет для маленького капрала! Господа, так ли я говорю? — обратился Ермолов к гостям.

— Так! Так, Алексей Петрович! — отозвалось несколько голосов. — Немцы в крепостях, а нас бить будут! Ха-ха-ха!

Более других хохотал адъютант Баркляя, Сеславин, молодой человек с орлиным носом и выразительными глазами. Он был порядоч-

но навеселе, и шутки Ермолова ему весьма нравились.

— Алексей Петрович, это верно! Это точно! — говорил он, смеясь и запинаясь. — Немец — крепость, мы — пушечное мясо, по выражению канальи корсиканца! Но все ж нашу кровь дешево не купишь, Алексей Петрович! Нет! Нет! О, черт возьми! — начал горячиться, размахивая руками, адъютант. — О, черт возьми! Да пусть придет к нам эта распротоканалья! Да пусть придет к нам этот изверг рода человеческого, Бонапартка...

— Пришел! Пришел! — раздался чей-то трусливый, хриплый голос.

Все разом смолкло. Офицеры кинули карты. Сеславин остановился на полуслове и обратил помутившиеся взоры к двери. Там стоял хозяин дома, жидок Хаим Цукерман, маленький, жиденский, в старом лоснящемся лапсердаке.

— Кто пришел? Где пришел? Пришел? Когда? — слышались со всех сторон голоса.

К жидку подскочило несколько человек. Впереди всех был Сеславин. Он схватил Хаима за борт лапсердака.

— Кто пришел? Говори! — спрашивает он грубо. — Уж не ты ли?

— Я пришел, да и он пришел... ой, ой! — ежился жидок под сильной рукой Сеславина.

— Да кто, чертова голова твоя?

— Да он самый... сам он...

— Кто?

— Наполеон... — выговорил жидок с трудом.

— Какой Наполеон? — брякнул спяну Сеславин.

— Тот самый, который шел, — объяснил Хаим.

— К черту Наполеона! — закричал адъютант, видимо смутно понимая, о чем идет речь.

— Сеславин, тише, погодите, — подошел к Сеславину Ермолов.

Все в тревожном ожидании столпились вокруг Хаима. Оказалось, что из Ковно, Бог весть каким путем, пробрался какой-то жид Соломон, торгующий контрабандными шкарпетками. Этот Соломон сообщил другому Соломону, корчмарю на литовском тракте, о переходе французских войск через Неман. Соло-

мон-корчмарь сообщил об этом другому корчмарю, караиму из Трок, Аврааму. Авраам передал эту новость жене своей, Саре. Сара передала о том другой Саре, жене Хаима Цукермана. А уж Хаим пришел с этой вестью к господам офицерам.

— Ты не врешь? — серьезно спрашивал у жидка Ермолов.

— Ой, ой! Зачем же врать! — уверял Хаим. — Соломон еврей честный. Другой Соломон еще честнее. А уж Абрам — еврей на все Троки: такого еврея нигде больше нет.

— А! какво, господа! — обратился Ермолов к гостям. — Ведь известие точно не шуточное. Но удивительно: что же делают наши казаки? На кой черт пикеты после этого, если мы такие важные известия получаем от жидов.

Известие это всех поразило, как громом. Некоторые известию не верили. Но большинство сознавало, что тут не до того, чтобы рассуждать. Почти молча начали офицеры расходиться. Ермолов торопливо стал собираться в Закрет с роковым известием. Сеславин, ругая Наполеона, тоже ушел вслед за другими.

Недавно шумная горница вдруг опустела.

На балу государь танцевал с девицей Ти-
зенгауз. В самый разгар бала туда явился Ер-
молов. Он сообщил о слышанном прежде все-
го Барклаю.

Министр отозвал Ермолова в сторону.

— Правда ли, Алексей Петрович? И стоит
ли беспокоить государя? — спросил, всегда
сдержанный и тихий, Барклай.

— Мне думается, что такого рода известия
не терпят отлагательства, — подчиненно за-
метил Ермолов министру.

— Думаете? — помолчав, произнес Барк-
лай и сообщил донесение Ермолова государю.

Государь, расчетливый во всех своих дей-
ствиях и малейших движениях, даже и виду
не подал, что известие взволновало его. Он
только слегка побледнел и продолжал быть
на балу, хотя и недолго. В то время как он по-
кинул бал, сел в коляску, с известием о
переходе Наполеона через Неман, прискакал
и казачий офицер, гонец из аванпостных от-
рядов атамана Платова.

Из дворца государь тотчас же послал за
Шишковым. Было два часа ночи — тот самый

час, в который Наполеон появился на берегах Немана.

— Поспеши, — сказал государь входящему секретарю своему, — написать приказ моим войскам и к Салтыкову, в Петербург, о вторжении неприятеля в наши пределы. Да непременно упомяни, что я не помирюсь с ним до тех пор, пока хоть один неприятельский воин будет оставлен в нашей земле.

Тринадцатого июня роковая весть о вторжении неприятеля в русские пределы пронеслась повсюду. Четырнадцатого, на заре, государь оставил Вильно. Шестнадцатого, с некоторым беспорядком, началось отступление наших войск, сперва из города, потом из окрестностей. Совершилась первая стычка нашего арьергарда с передовою французскою цепью, в которой был взят в плен, израненный пикою, будущий и лучший историк кампании двенадцатого года граф Сегюр.

«Так начался, — говорит современник и очевидец вторжения, — страшный смертный пир, коего шумный отголосок должен был передавать из века в век, рушить царства, почитавшиеся непоколебимыми, утвердить могу-

щество полагававших себя на краю гибели и поставить поработченную Европу на новых основаниях».

Между тем, как страшная суматоха происходила на западной границе России, два манифеста государя, от тринадцатого июня, с неимоверной быстротой разносились по всем концам России.

«Французские войска, — объявлял один из них, — вошли в пределы Нашей Империи. Самое вероломное нападение было возмездием за строгое соблюдение союза. Я, для сохранения мира, истощал все средства, совместные с достоинством престола и пользою Моего народа. Все старания Мои были безуспешны. Император Наполеон в уме своим положил твердо разорить Россию. Предложения, самые умеренные, остались без ответа. Нечаянное нападение открыло явным образом лживость подтверждаемых в недавнем еще времени миролюбивых обещаний. И потому не остается мне иного, как поднять оружие и употребить все, врученные Мне Провидением, способы к отражению силы силою. Я надеюсь на

усердие Моего народа и на храбрость войск Моих. Будучи в недрах домов своих угрожаемы, они защитят их с свойственною им твердостью и мужеством. Провидение, благослови праведное наше дело. Оборона Отечества, сохранение независимости и чести народной, принудили нас препоясаться на брань. Я не положу оружия, доколе ни единого неприятельского воина не останется в царстве Моем!»

Другой манифест гласил:

«С давнего времени замечали Мы неприязненные против России поступки Французского императора, но всегда кроткими и миролюбивыми способами надеялись отклонить оные. Наконец, видя беспрестанное возобновление явных оскорблений, при всем Нашем желании сохранять тишину, принуждены Мы были ополчиться и собрать войска Наши. Но и тогда, ласкаясь еще примирением, оставались в пределах Нашей Империи, не нарушая мира, быть токмо готовыми к обороне. Все сии меры кротости и миролюбия не могли удержать желаемого На-

ми спокойствия. Французский император, нападением на войска наши при Ковно, открыл первый войну. Итак, видя его никакими средствами непреклонного к миру, не остается нам ничего иного, как, призвав на помощь свидетеля и защитника правды, Всемогущего Творца небес, поставить силы Наши противу сил неприятельских. Не нужно Мне напоминать вождям полководцам и воинам Нашим о их долге и храбрости: в них издревле течет громкая победами кровь Славян. Воины! вы защищаете веру, отечество и свободу. Я с вами. На начинающего Бог!»

«На начинающего Бог!» — сказал вместе с своим императором и весь народ русский.

VIII

ОТСТУПЛЕНИЕ

*Мы долго, молча, отступали,
Досадно было, боя ждали,
Ворчали старики:
«Что ж мы? на зимние кварти-
ры?
Не смеют, что ли, командиры
Чужие изорвать мундиры
О русские штыки?»*

Лермонтов

Наполеона через Неман не только изумил русскую армию, но и поставил ее в довольно неопределенное положение, исхода которого никто не знал и не предвидел.

Первая армия — Баркляя, — преследуемая по пятам французским арьергардом, безостановочно отступала к Дриссе, к укрепленному лагерю, недостатки которого обнаружились тотчас же при вступлении туда передовых корпусов.

Все потеряли головы — и не знали, что делать, что предпринять.

Первая растерялась квартира главнокомандующего. Интриговавшие перед тем и делавшие множество советов некоторые члены штаба вдруг приутихли и просили сами советов.

Начальник главного штаба, маркиз Пауллуччи, один из беспокойнейших, был заменен Алексеем Петровичем Ермоловым.

Отступление русских было так торопливо, что, наконец, неприятель остался далеко позади, и принуждены были посылать партии отыскивать, где он находится.

Во время пребывания армии в укрепленном Дрисском лагере, где все же думали дать отпор неприятелю, было получено одно весьма важное известие, мгновенно изменившее ход дела.

На первом переходе армии, в местечке Неменчиве, военный министр призвал к себе расторопного ермоловского адъютанта Павла Граббе, и приказал ему немедленно, кратчайшим путем ехать навстречу войскам второй армии, князя Багратиона, и передать, чтобы войска, усиленными переходами, старались соединиться с первой армией, не допуская се-

бя отрезать. Соединение это оказалось невозможным. Шестидесятитысячный корпус маршала Даву шел на Минск и разъединил армии. Князь Багратион поэтому отказался от направления на Минск и на Вилейку, как было предложено ранее, и пошел на Бобруйск и Могилев.

Услышав это известие от Павла Граббе, государь, с выражением нетерпения, воскликнул:

— Это неправда! Быть не может! Даву здесь против меня, а князь Багратион имеет от меня другие приказания!

Скромный, доселе почти незаметный, вестник заявлял, что за точность этих сведений он отвечает головою. Он говорил: действительно часть войска взята у Даву и направлена к Дриссе. Но маршалу даны новые войска из армии короля Вестфальского и других корпусов.

Известие это изумило государя.

— Теперь о скором соединении армий и думать нечего! — произнес он и отдал приказание о немедленном выступлении армии к Полоцку.

На третий день армия была уже в Полоцке, за исключением первого корпуса под командой графа Витгенштейна, оставленного прикрывать Петербург.

Дела принимали весьма неблагоприятный оборот. Все в главной квартире притихло и выжидало. Государь был молчалив, ровен и среди окружающих себя людей искал способных быть полезными ему и отечеству при таких трудных обстоятельствах. Он остановился, покуда, на Ермолове.

Призвав его к себе, государь сказал:

— Чрезвычайные обстоятельства, в которые теперь поставлена Россия, несогласия в главной квартире и между главнокомандующими вынуждают меня иметь подробные и по возможности частые известия о всем том, что будет происходить в армии. Я уезжаю в Москву. Поручаю вам, по моем отъезде, извещать меня письмами о важнейших происшествиях в армии. Надеюсь, что выбор мой пал на человека достойного.

— Всегда был и буду предан моему государю, — отвечал его величеству Ермолов, — весьма обрадованный такого рода поручени-

ем.

В сопровождении немногих лиц государь отправился в Москву. Все поняли, что окончательно решено непрерывное отступление...

IX В САДУ

Как очаровательна природа и как злобны люди!

Руссо

Замок графа Валевского, в течение многих лет наполнявшийся громом чар да криком пирующих гостей, наполнился вдруг совершенно иным громом и совершенно иными криками: по всем залам его раздавалось звяканье шпор, сабель, ружей и слышались голоса военных людей. Все это торопилось, бегало, кричало, приказывало. У замка ежеминутно грохотала пальба и трещали барабаны. Войска и обозы тянулись мимо Веселых Ясеней и точно пропадали в его лесах, по его пустынным дорогам.

Весь этот шум и гам происходил оттого, что в замке находился князь Багратион —

главнокомандующий второй армией — с блестящим своим штабом.

Князь шел из Пружан. Выйдя оттуда для соединения с первой армией, он быстро был окружен неприятелем и должен был брать всякий свой шаг вперед с бою. Положение его было поистине критическое. Он расчел марши свои так, что двадцать второго июня главная квартира должна была быть в Минске, авангард далее, а партии уже около Свенцяи. Но его, по предписанию Барклая, повернули на Новогрудок и велели идти — или на Белицу, или на Николаев, перейти Неман и тянуться к Вилейке. Князь пошел, хотя и писал, что этим путем идти невозможно, так как три неприятельских корпуса уже были на дороге к Минску и дороги сами по себе были непроходимыми. В Николаеве князь перешел Неман. Но оказалось, что в Волочине, куда должны были направляться войска, была уже главная квартира Даву, и князь рисковал потерять ее. Он снова кинулся на Минскую дорогу, но и та была уже занята войсками короля Вестфальского и Понятовского: Князь направился к Бобруйску.

Раздраженный неопределенным положением, теснимый со всех сторон неприятелем, князь затеял горячую переписку с главной квартирой первой армии, в которой предлагал решительные меры и желчно сетовал на Барклая. Ему мало внимали. Князь злился и даже несколько раз совершенно искренно отказывался от командования второй армией.

В Веселых Ясенях князь получил уведомление от Ермолова, что соединиться армиям желательно бы в Смоленске.

— Боюсь, — сказал он при этом графу Сен-При, — чтобы и в Смоленске меня не обманули. Я приду туда, а их уже там и не будет.

— Неужто Ермолов шутит! — произнес Сен-При. — Не думаю, князь.

— А! Христос с вами! — и он уже сделался дипломатом на все руки, мой любезнейший! Не верится что-то и ему! — недовольным тоном заметил князь. — Сами видите, граф, как дела идут. Мы проданы. Я вижу, нас ведут на гибель. Я не могу на все равнодушно смотреть. Уже истинно еле дышу от досады, огорчения и смущения. Я, ежели выберусь отсюда, тогда ни за что не останусь командовать

армией и служить. Стыдно носить мундир. Ей-Богу, я болен! А ежели наступать будут с первою армиею, тогда я здоров. А то, что за дурак! Министр сам бежит, а мне приказывает всю Россию защищать и бить фланг и тыл какой-то неприятельский. Если бы он был здесь, ног бы своих не выдрал, а я покуда выхожу с честью.

— Это точно, князь, что нас поставили здесь в положение каких-то беглецов, — сказал Сен-При, — и благодаря только вам мы довольно удачно увертываемся от неприятеля.

— Беглецов! Именно — беглецов, граф! — воскликнул Багратион, играя нагайкой, которая висела у него через плечо. — Я волосы деру на себе, граф, что не могу дать баталии! Хорошая баталия хоть несколько бы остановила пыл Бонапарта, хотя, говорят, он только и желает того, чтобы сразиться с нами!

— Я тоже нахожу, князь, что баталия необходима, — проговорил Сен-При с выражением сдержанного недовольства на что-то и на кого-то. — Тут бы Суворова надо, не Барклая, — с тонкой, хорошей усмешкой заметил далее граф.

Крепкое, старое лицо Багратиона, с полузакрытыми, мутными, как будто не выспавшимися глазами, мгновенно оживилось. Багратион боготворил Суворова. Первые успехи князя совершились именно под знаменами великого русского полководца, который подарил ему даже свою шпагу, видя в нем своего преемника. Князь Багратион гордился этим подарком, и точно, честолюбивый, смелый, умный, но почти ничему не учившийся, избалованный счастьем, считал себя таковым. Намек графа Сен-При польстил ему.

— Суворова! — именно Суворова, граф! — подтвердил горячо Багратион. Глаза его из мутных каким-то внутренним оживлением вдруг превратились в ясные, твердые, с выражением ястребиной хищности и презрения. Горбинка его длинного восточного носа слегка вздрагивала. — Суворова! — именно Суворова, граф! — повторил Багратион, произнося слова с своим восточным акцентом. — О, Суворов бы напомнил Бонапарту силу русского оружия, как он напоминал ее в Италии! Но его нет... нет, граф! И русская сила с течением обстоятельств находится в руках человека,

который стоит ниже своего назначения!

Князь намекал на Барклая, которого издавна не любил. Сен-При слушал Багратиона с тем вниманием, которое ясно говорило, что он согласен со всем тем, что слушает.

Князь с графом долго еще говорили по поводу текущих событий и почти во всем соглашались. Граф Сен-При был в высшей степени способный человек, а такие люди имели на Багратиона влияние и нередко злоупотребляли его доверием. Граф был тонко любезен, льстив. Грубоватый князь поддавался чарам этой любезности и лести. Хорошо воспитанный человек имел дело с простой, способной натурой, и воспитание как-то само собою бра-ло верх.

Вечерело, июньский день подходил к концу. Вошел адъютант Багратиона, бравый, краснощекий, с веселым выражением в лице, полковник Муханов, и доложил князю, что хозяин дома, граф Валевский, просит откушать его хлеба-соли.

Князь только тут вспомнил про хозяина и даже забыл, что он не видал его совсем. Условия военной жизни, торопливость, с которою

главная квартира переходила с места на место, лишали Багратиона возможности вообще любезного и предупредительного, повидаться с хозяином дома. Впрочем, граф Валевский и сам почему-то нигде не показывался.

При встрече Валевский и Багратион обменялись обычными любезностями, причем последний извинился, что за множеством хлопот он не успел еще доселе повидаться с ним. Граф, в свою очередь, извинился, что он принимает гостя не так, как бы следовало.

Ужин прошел довольно торопливо, но отчасти и весело. Любезнее всех был сам хозяин. Он рассказывал несколько весьма грубых, но переданных изящно анекдотов про Наполеона. Багратион смеялся. Все вторили ему. Оркестр беспрестанно наигрывал то один польский: «Александр, Елизавета, восхищаете вы нас», то другой: «Гром победы, раздавайся». В заключение было пито шампанское; провозглашен тост за здоровье императора Александра, потом за здоровье самого князя Петра Ивановича Багратиона, причем по заранее сделанному распоряжению услужливого графа Сен-При, один из певчих Валевского

прочел давние, глупые стихи поэта Николаева, написанные в честь Багратиона, когда он возвратился из австрийского похода.

*Славь тако Александра век
И охраняй нам Тита на престол.
Будь купно страшный вождь и
добрый человек,
Рифей в отечестве и Цесарь в
бранном поле.*

*Да счастливый Наполеон,
Познав чрез опыты, каков Багратион,
Не смеет утруждать Алкидов
русских боле.*

Князю понравилась эта грубая лесть: она напоминала ему прием, сделанный ему же в Москве, в Английском клубе, в 1809 году, но он почел за нужное сказать, обращаясь к Валуевскому:

— Граф, напрасно... это уж лишнее...

Валуевский на это любезно улыбнулся и махнул по направлению к сцене носовым платком.

Оттуда слышалось тихое, невидимого хора, пение:

*Тщетны Россам все препоны,
Храбрость есть побед залог, —
Есть у нас Багратионы,
Будут все враги у ног!*

Князь несколько переконфузился. Кто-то крикнул «ура». За ним повторили другие. Багратион, веселый, с блистающими глазами, слегка раскланивался...

На другой день было назначено выступление главной квартиры по направлению к Чусам, и потому, как сам Багратион, так и его штаб, скоро разошлись, поблагодарив хозяина за гостеприимство.

Скоро в замке все успокоилось. Но по берегам Березины и вокруг замка посты бодрствовали. Кое-где горели костры и поминутно раздавалось протяжное «слу-ша-ай»!..

Наступившая ночь была светла, как день. Сад, окружающий замок, стоял точно околдованный. Деревья не шевелились. Широкий садовый пруд лежал неподвижным стальным пластом, величаво отражая в лоснящейся мгле своего глубокого лона и всю воздушную бездну неба, и опрокинутые темные деревья, и часть замка. Круглый лик полной луны то

отражался ясно в пруде, то вытягивался в длинный, сверкающий блестками сноп. На одной из дорожек сада показался Валевский. Он был в своей неизменной венгерке и шел медленно — он шел к домику Уленьки по той самой дорожке, на которой он встретил свою певицу, поутру, несколько дней тому назад. Дорожка эта стала графу особенно мила своей пустынностью, и он не пропускал уже случая, чтоб не прогуляться там — особенно ночью...

Князь Багратион имел обыкновение вставать очень рано. Вставая, он никого не беспокоил, сам одевался и выходил на прогулку.

Солнце только что поднялось из-за далеких лесов. Князь вышел в сад и начал ходить медленно по всем дорожкам, прислушиваясь к шуму расположенных по Березине и поднимавшихся в поход отрядов. Чуткое ухо его различало все распоряжения и команды, до него доносился звук оружия, крик солдат и ржание лошадей. Потом все это смолкло, но слышался тупой гул от двигавшихся масс людей и обозов. Отряды уходили торопливо, и потому вскоре стало вокруг тихо. Недавно вставшее солнце неярким светом пробира-

лось в сад. Заблестели росинки, засверкали и зардели крупные капли, задышало все свежестью утра. На ближних полях раздались рассыпчатые голоса жаворонков. Мокрая трава пахла, и чистый летний воздух переливался прохладными струями. Хорошо стало князю. Грудь его дышала легко, ровно. Он сел на скамейку под громадной серебристой тополью и с наслаждением прислушивался к пробуждающимся звукам утра. Вот, не торопясь, точно перекликаясь, затараторили почти над самой его головой две птички. Вот зашелестела густой своей листвою тополь, и князю показалось, что вдруг заспорило несколько человек чуть слышным шепотом. Вот затрещали в высохшей траве кузнечики, вот запела, точно зарыдала о покинутом счастье, пеночка...

«Как очаровательна природа и как злобны люди!» — припомнил князь — сам один из злобствующих — слова Руссо.

Вдруг до его слуха донеслись неясные звуки струнного инструмента. Князь прислушался и различил, что кто-то играет на цимбалах. Звуки усиливались, трепетали и переливались, и потом как-то враз, целым потоком

пронеслись по саду.

Князь поднял голову, насторожил ухо. Звук не прекращались.

— Что это — сон? Нет, нет... — прошептал князь и вдруг, порывисто встав, направился в ту сторону, откуда слышалась игра на цимбалах...

Х

НА СКЛОНЕ ЛЕТ

*В ее очах, алмазных и приветных,
Увидел он, с невольным торжеством,
Земной эдем!.. Как будто существом
Других миров — как будто божеством
Исполнен был в видениях заветных.*

Полежаев

С того самого утра, как граф Валевский, встретившись с Уленькой, выпил у нее несколько чашек кофе, те маленькие комнатки, где она помещалась, необыкновенно пре-

образились. Прежде пустые и скучноватые, они теперь были наполнены всякого рода дорогими безделушками и дышали той уютной роскошью, которой умеют обставлять свои жилища только одни женщины. С радостью, свойственной неожиданно разбогатевшему человеку, Уленька по несколько раз в день, на первых порах, пересматривала и перебирала особенно нравившиеся ей вещицы, вертела их в руках, любовалась ими, старалась разгадать, как и из чего они были сделаны. При этом цыганская порода ее сказалась вполне: она более всего восхищалась блестящими или ярко раскрашенными предметами. Красный цвет она предпочитала всем другим.

Граф Ромуальд от души смеялся над этим вкусом своей певицы и не препятствовал ей обставлять комнаты по ее желанию.

Изменилась несколько и сама Уленька. Она стала более резвой и веселой, играла и пела более чем прежде. Граф Валеvский по целым часам слушал ее, молча и улыбаясь. Ему нравилась эта маленькая идиллия, начатая так недавно и так мило отзывавшаяся в его сердце.

В первое утро граф просто хотел пошалить, как он шалил обыкновенно, где бы ни был, но в то же утро к шалости примешалось какое-то новое чувство, которое не покинуло его и доселе.

Граф до мельчайших подробностей помнил все, что произошло в то утро.

Уля ввела его в свою комнатку и не знала, где посадить. В комнатке было бедно. Бледный свет утра, пробивавшийся сквозь небольшие окна, ложился на все матовыми полосами и еще более увеличивал ее невзрачность. Оглянувшись, граф брезгливо поморщился. Он никогда не заглядывал в жилища своих служащих и потому не знал, как они живут. Граф довольствовался одной наружной красотой их помещений и полагал, что и внутри так же хорошо, как и снаружи. Он оглядывался и не знал, где присесть. В комнатке стояли только табуретик да скамейка у небольшого столика. Граф уже сожалел о том, что вошел в такое помещение.

Сконфуженная и растерявшаяся Уля суетилась.

— Тут вот, пан, тут, — указывала она на

скамеечку и покрыла скамеечку маленьким ковриком.

Граф не садился. Тонкая неподвижная улыбка не сходила с его губ. Он все оглядывался.

— О, граф! Тут у меня все так не хорошо, не прибрано, — извинялась Уля, — да я ж не знала, что граф заглянет ко мне, а то я бы прибрала.

Уля говорила своим порывистым, но мягким голосом, напоминавшим звуки виолончели. Звуки этого голоса как-то странно, но вместе с тем приятно щекотали ухо графа. Он сел на скамеечку, но осторожно и медленно.

Рассветало все более и более.

— О, я сейчас, сейчас подам графу кофе! — сказала Уля и скрылась за дверь, шелестя своим платьем.

Не переставая улыбаться, точно какая-то забавная мысль не покидала его, граф обернулся к окну и совершенно машинально распахнул его. В ту же минуту с соседних деревьев, с громким щебетаньем, сорвалась многочисленная стая воробьев и уселась, толкаясь и пища, на подоконниках флигелька. Бо-

лее всего их вертелось у распахнутого оконца; некоторые, более смелые, совсем-таки лезли к рукам графа. Невообразимо безалаберный писк одушевлял всю эту массу маленьких храбрецов. С каждой минутой их прибывало все более и более — они сыпались откуда-то точно проливной дождь.

— Вполне идиллия! — произнес граф, отыскивая глазами, что бы можно было посыпать крикливым гостям.

На глаза ничего не попадалось. Вошла Уля с засученными по локоть рукавами. Опытный глаз Валевского сейчас же заметил красоту этих засученных рук.

— Прочь, прочь вы, негодные! — замахала Уля руками на воробьев. — Прочь, а вот я ж вас! А вот я ж вас! — продолжала она махать руками, так как воробьи и не думали покидать окна, а, напротив, несколько из них, из назойливейших, влетели даже в комнатку и шныряли повсюду.

Графа это заняло.

— Нет, вы не гоните их, зачем же?

— Да ведь они ж мешают графу.

— Нисколько, право, нисколько, — гово-

рил граф, следя за изгибами махающих Улиных рук. — Им бы что-нибудь посыпать, хлеба, зерен. У вас есть?

— Вот тут хлеб — крошки, вот они.

Уля вытащила из-под столика ящик с крошками хлеба и метнула горсть за окно. Часть воробьев, шурша крыльями, устремилась туда.

— А, да это занимательно! — сказал граф. — Позвольте мне самому их накормить, а вы уж похлопочите о кофе.

Почти с полчаса граф возился с воробьями: кидал им крошки, прислушивался к гневному их щебету, любовался их возней. Чашка кофе уже стояла перед ним, а сама Уленька, как-то успевшая переодеться, ожидала, когда граф перестанет забавляться прирученными ею буянами-воробьями.

Наконец, граф обернулся к Уленьке.

— О, да сколько у вас друзей, моя маленькая! Право, я вам завидую. В таком пернатом обществе, с такими крикунами, я думаю, вам превесело.

Уля, краснея, объяснила, что воробьи ее очень любят и каждое утро и каждый вечер

собираются у ее окон, и что они, правда, много развлекают ее.

Граф прихлебывал кофе и не сводил глаз с Уленьки. Сверх ожидания, кофе оказался превосходным. Граф попросил другую чашку. Уленька торопливо принесла. За второй граф выпил третью чашку. Комнатка бедной певицы начала казаться ему занимательной, даже в своем роде приятной.

«Странно, — думал он, — что я до сих пор не обращал на эту девушку внимания! Черты ее лица очень хороши и напоминают облики древних изваяний. Плебейка — и такое сокровище! Впрочем, тип у нее несколько цыганский, однако ж она напоминает и нечто греческое или, в крайнем случае, грузинское, вообще — что-то восточное».

Он еще внимательнее, точно вещь, начал разглядывать Улю. Та поняла это и зарделась до ушей, не опуская, впрочем, глаз, в которых сверкало что-то смелое до дерзости.

Граф почувствовал, что кровь приливает ему в голову, а все тело охватывает какое-то восторженное опьянение. Он встал, прошелся раза два по комнатке и сел рядом с Уленькой.

Та не шелохнулась на своем месте. Граф взял ее за руку. Рука Уленьки горела, как в огне. Не то с удивлением, не то с испугом она смотрела на графа во все свои глаза и недоумевала, что с ним такое случилось.

Граф между тем был в совершенно возбужденном состоянии, что случалось с ним довольно редко. Он часто брался за голову, нервно вздрагивал и так же нервно улыбался. Уля стала страшиться за графа: ей показалось, что он болен. Она стала выражать нетерпение. В самом деле, глаза у графа в эти минуты были почти помешаны, руки судорожно дрожали, все тело вздрагивало.

Уля вдруг встала. Сильное смущение было заметно во всей ее фигуре, во всех ее движениях.

— С вами недоброе делается, граф! — сказала она дрожащим голосом.

— Что?.. что?.. — как бы очнулся граф и медленно встал.

— Я пойду... позову людей...

— Людей? Зачем! Не надо! — проговорил торопливо граф. — Я один с тобой хочу быть, один! И ты не уходи. Садись.

Граф посадил Улю на прежнее место. Та беспрекословно села, но лицо ее мгновенно нахмурилось и приняло какой-то своеобразный, решительный вид.

— А! ты, вижу, зла, любишь кусаться! — начал граф каким-то прерывистым голосом. — Зачем это? Не будь злой. Я злых не люблю.

— Граф! Граф! — прошептала Уля. — Я девушка безродная, я одна, я девушка бедная...

— Бедная? Какой вздор! Ты так же богата, как и я... Не ты у меня в гостях — я у тебя. Да, тебя зовут Улей — Ульяной по-русски... Какой вздор!.. Ульяна... Совсем незвучно... Я буду звать тебя Реввекой... Ты не еврейка, но это все равно, по крайней мере — поэтично и звучно... Тебе нравится имя — Реввека, скажи? — приставал граф... — Реввека и Ромуальд?! Как прекрасно! Это все равно что — Ромео и Юлия!

Уля не понимала графа. Она все более и более таращила на него глаза, что еще более раздражало графа. Граф очень хорошо понимал, что с ним происходит, и, радуясь этому настроению, проявлявшемуся у него весьма

редко, как можно долее намеревался продлить его. Это было с его стороны нечто искусственное, но в то же время для него невыразимо приятное.

— Да, я буду тебя звать Реввекой! — повторил граф. — А ты... ты просто зови меня Ромуальдом. Я для тебя не граф теперь, ты для меня — не бедная певица, не танцовка, не плясунья театральная, ты для меня теперь — нечто больше всего этого... несравненно больше... Постой! Что же ты молчишь, не отвечаешь ничего? — медленно взял граф Улю за руку: — Реввека, говори со мной!

Уля низко опустила голову, пылая вся в лице и стараясь сохранить спокойный вид.

— О, граф! Я бедная девушка... — снова чуть слышно произнесла она и немного отвернулась от графа, так, что ему она видна стала вполуборот.

«Какой профиль! — мысленно восклицал граф. — Нет, нет, я не могу поверить, чтобы она была простой плясуньей. Тысячу раз допускаю, что она нечто выше этого».

Граф быстро шагнул к Уленьке и крепко взял ее за плечо. Та вздрогнула и стала на но-

ги.

— О, точно, точно Реввека! — воскликнул граф с невыразимой страстностью, откинув голову несколько назад, но не снимая с Уленькиного плеча руки. — Античная красавица вполне! Га, черт возьми! — закричал он вдруг громко, волнуясь и порывисто дыша, — красота не должна быть в дрянном одеянии!.. Прочь все! Долой все!

На Валевского нашло какое-то жгучее иступление. Рука его судорожно смяла в комок находившееся под ней полотно сорочки — и плечо Уленьки обнажилось.

Уленька не вскрикнула, не подала ни малейшего голоса негодования, но здоровые пальцы ее с дикой яростью впились в борт графской венгерки... Несколько мгновений граф почти задышался...

— О, прелестное утро! Прелестное утро! — восклицал после этого утра часто Валевский.

Почему-то осталась довольна тем утром и сама Уленька. Для нее то утро тоже прошло в каком-то угаре, и при воспоминании о нем она вся вспыхивала от удовольствия.

Для графа Валевского сделалось чем-то

необходимым посещать каждым утром — именно утром — свою Реввеку. Уленька-Реввека встречала его с той простой, милой предупредительностью, которою в совершенстве обладают любимые и влюбленные женщины. Во всем замке и в округности еще никому не было известно об отношениях графа к своей певице, хотя ни граф, ни сама Уленька вовсе не старались придавать этому особенной таинственности: граф потому, что вообще человек был бесцеремонный и открытый, Уленька — по своей врожденной простоте. Таинственность соблюдалась как-то сама собою. Впрочем, если бы отношения графа к певице и стали известны, то едва ли бы ими так интересовались, как в обыкновенное время: все были заняты Наполеоном, его войсками, предстоящими битвами, и всякий втихомолку, а то и открыто дрожал за свое имущество и за свою шкуру. Переход Багратионовой армии через Веселые Ясени еще более усугубил этот страх, все приутихло и попряталось, ожидая грозы.

Не обращал ни на что внимания один владелец Веселых Ясений и более чем когда-либо

жил беспечно и забывался до опьянения в маленькой комнатке своей Реввеки, которая на склоне его лет дарила ему такие жгучие ласки, каких он не испытывал и в лучшую, молодую пору своей жизни.

— А, ты уж проснулась, моя Реввека, моя ранняя птичка! — приветствовал граф Уленьку, пробравшись к ней в утро выхода Багратионовой армии из Веселых Ясеней.

— Проснулась и ждала тебя, Ромуальд! — встретила его Уленька в утренней полосатой курточке резвым и вкусным поцелуем в левую щеку.

— Ну, и прекрасно! Ну, и прекрасно! — целовал обе ее руки граф, светло и хорошо улыбаясь.

— Ах! — вдруг воскликнула Уленька, — зачем это сюда столько солдат нашло? Так много, и все такие запыленные, сердитые! Я видела.

— На войну идут, — удовлетворил ее любопытство граф. — Драться будут с Наполеоном.

— На войну! Драться!

— Пойдут подерутся, порежут друг друга, мертвых всех — похоронят, а живые все —

разойдутся, кому куда нужно.

— Ах! Ах! — восклицала наивно Уленька, — как страшно! В Москве я у солдата жила, так он тоже про войну рассказывал. Я, бывало, всегда пряталась и плакала, когда он начинал показывать, как на штыки идут. И теперь будут на штыки?

— Всего будет довольно. Впрочем, все это вздор! — сказал граф и обнял Уленьку за стан. — Ты лучше спой мне что-нибудь, потихоньку или сыграй на своих цимбалах. Нынче я плохо спал. Вздремну, может быть, под твою игру.

— О, то добже, пан! — воскликнула весело Уленька. — Ложись, слушай... я буду играть...

Через минуту Уленька сидела уже на полу, подстелив коврик, с цимбалами на коленях. Она поместилась у ног развалившегося на диванчике графа.

Струны на цимбалах дрогнули — Уля начала играть. Сперва она брэнчала довольно равнодушно, сдержанно; но заунывные страстные звуки родных песен расшевелили ее понемногу, руки быстро забегали по струнам — и она заиграла громко и увлекательно.

— Хорошо! Хорошо! — шептал граф, любуясь виртуозкой, поминутно встряхивавшей своими густыми кудрями.

В самый разгар игры, когда, казалось, звуки метались, как шальные, то ноя, то взвизгивая, то замирая, чтобы разразиться с новою силою, на пороге появился князь Багратион...

XI ПЕРЕД ГРОЗОЙ

...Как! к нам? милости просим, хоть на масленице, да и тут жгутами девки так припопоят, что спина вздуется горой.

Ростопчин

Весна двенадцатого года в Москве стояла прекрасная. Вся утопающая в садах, первопрестольная столица утопала в это время и в удовольствиях, даже более чем когда-либо.

Так называемый большой свет предавался обычным увеселениям. В Английском и в танцевальных клубах шла игра в вист, бостон, лабет. Ежедневно у кого-нибудь из высшего света давался бал или устраивалась вечерин-

ка. На них гости, как и в другое время, беспечно танцевали экосезы, матрадуры и полонезы и вели изящные речи на французском, языке, так как среди этого общества преобладал еще тон старой Франции, тон эмигрантов, графов и маркизов. Приверженность к французам была еще полная. Говорить по-русски в гостиных считалось еще дурным тоном. Повсюду сновали франты, которых называли тогда «петиметрами». Они щеголяли в шляпах а ла Сандрильон, в пышных жабо с батистовыми брыжами, с хлыстиками или с витыми из китового уса тросточками, украшенными ма-сонскими молоточками. Многие, особенно изысканные щеголи, ходили во фраках василькового, кофейного или бутылочного цвета, в узких гороховых панталонах, а сверх них в сапогах с кисточками. Дамы-франтихи являлись везде в платьях с высокой талией, с короткими рукавами и в длинных, по локоть, перчатках... Более благочестивые дамы, по общепринятому тогда обыкновению, щипали корпию, кроили и шили перевязки для раненых. В таких домах редкая комната, даже из парадных, не была завалена бинтами и засо-

рена обрезками холста и полотна. Глядя на мамаш, занимались этим и маленькие дети. Некоторые ударились в богомолье и езжали в дальние монастыри. В театре шли патристические пьесы: «Наталья, боярская дочь», «Илья Богатырь», «Иван Сусанин», «Добрые солдаты». Простонародье веселилось по-своему: забиралось в Нескучный сад, где давались волшебные представления. Шло в Государев, ныне кадетский в Лефортове, сад, где постоянно гремела роговая музыка и пелось «Гром победы, раздавайся» с пушечными выстрелами. Степенные купцы облюбовали только что устроенный тогда первый московский бульвар, усаженный новыми березками, — Тверской. Более веселого характера купчики катили в Марьину рощу, где в красивой палатке, на их усладу, гикали и плясали цыгане.

О политике мало кто думал. Интересующиеся этим предметом усердно читали «Московские ведомости», но в них слишком осторожно и только вскользь писали о движении наполеоновских полчищ. Никто, по словам одного современника, в высшем московском обществе порядочно не изъяснял себе причины

и необходимости этой войны, тем более никто не мог предвидеть ее исхода. В начале войны встречались в обществе ее сторонники, но встречались и противники. Мнение большинства не было ни сильно потрясено, ни напугано этой войной, которая таинственно скрывала в себе и те события и те исторические судьбы, которыми после она ознаменовала себя. В обществе были, разумеется, рассуждения, прения, толки, споры о том, что происходило, о наших стычках с неприятелем, о постоянном отступлении наших войск во внутрь России, но все это не выходило из круга обыкновенных разговоров. Встречались даже и такие люди, которые не хотели или не умели признавать важность того, что совершалось на виду у всех. Мысль о том, что Наполеон будет в Москве или Москва будет ему сдана, никому и в голову не приходило. Простонародье, так то просто грозилось закидать французов шапками.

Все это было весьма естественно: ясное понятие о настоящем редко бывает уделом человечества. В таком случае прозорливости много препятствуют чувства, привычки, то

излишние опасения, то непомерная самонадеянность. Пора действия и волнений не есть пора суда.

Собиралось ополчение, но покуда довольно вяло и как бы шутя. На народных гуляньях, у Новоспасского и Андроньева монастырей, устроены были красивые военные палатки, вокруг которых гремела музыка, а внутри их блестели разное оружие и военные доспехи, уставленные пирамидами. Вербовались охотники в военную службу: новобранцев из простолюдинов принимали унтер-офицерами. Посредине палатки стоял стол, покрытый красным сукном, обшитым золотым галуном с кистями, а на столе лежала книга в пунцовом бархатном переплете, с гербом Русской империи: охотники вписывали в эту книгу свои имена. Купечество на этот счет пожертвовало полтора миллиона рублей.

Граф Матвей Мамонов, богатый и честолюбивый юноша, вызвался сформировать на свой кошт целый конный полк, который бы состоял под его начальством. Ему дано было позволение, и вот сформировался полк в синих казакинях, с голубою выпушкой, в шап-

ках с белым султаном и голубою, мешком свисшею, тульей. Эти сорванцы более занимались пирушкою по московским трактирам, чем подготовлением к предстоящей боевой жизни. О их удалых проделках ходило немало рассказов по Москве. Полк этот, впоследствии, ни в каком действии не был, отличался своеволием, сжег даже одно русское селение, за что главнокомандующий сделал Мамонову строгий выговор, а полк был расформирован.

Подобных ополченцев набралось тысяч до шести. Вместо знамен им дали хоругви из церкви Спаса во Спасской.

В Петербурге смотрели на вторжение Наполеона в Россию посерьезнее, и потому престарелый главнокомандующий Москвы, граф Гудович, заменен был графом Растопчиным. Все как-то сразу почуяли, что человек этот в данное время самый подходящий, необходимый. Страстный, пылкий, самолюбивый, всегда себе на уме, граф мог решиться на все, что и требовалось в то время от главнокомандующего такого города, как Москва.

Поздравляя Растопчина с назначением, Ка-

рамзин, в то время проживавший у графа, выразился:

— Граф, вы едва ли не Калиф на час.

— Точно, Калиф на час, милостивейший Николай Михайлович, но лучше быть Калифом на час, чем графом не у дел на всю жизнь.

— И вы назначением довольны?

— Весьма.

— Что ж вы будете делать, граф? Теперь обстоятельства сложны, на Москву будут смотреть, а то, быть может, уж и смотрят во все глаза российские. Вам трудно.

— Нисколько, — отвечал граф. — А что я буду делать, это я вам, как историку, скажу: я, Николай Михайлович, буду... как думаете, что я буду?..

— Скажите, граф.

— Буду... — засмеялся Растопчин. — Да ничего я не буду... Впрочем, чего нам надо ожидать от Бонапарта, я подавал записку еще покойному императору Павлу. Проще: Бонапарт будет у нас в Москве.

Историк даже испугался такой мысли.

— Граф, что вы говорите такое?

— Прошу, чтоб это было между нами, добрейший Николай Михайлович. С другими я не делюсь подобными мыслями. Вам это я сказал опять-таки как историку.

— Но это невозможно! — воскликнул, всегда сдержанный, Карамзин.

— Что такое невозможно! — шутил граф. — Невозможно, чтоб Бонапарт заглянул в нашу первопрестольную столицу? Хе, хе, Николай Михайлович. Вот и видно, что вы не военная косточка. Я еще покойному императору Павлу самолично докладывал, что Бонапарт заглянет-таки в нашу хату, да хорошенько заглянет — в самый наш наилучший уголок.

— Что ж император?

— А император сказал, что мы напустим на него нашего старичка Суворова. Я осмелился спросить у его величества: «А коли Суворова не будет?» Император рассмеялся. «Тогда, — говорит, — пуцу в ход тебя».

— Стало быть, и ваше пророчество и пророчество покойного императора Павла несколько сбываются?

— Мое — пожалуй, а другое — не знаю. Покуда ждем спасения от Барклая. Может стать-

ся, и поможет чем. Говорят, Дрисский лагерь хорош. Может быть, Наполеон попьет в Двине водицы, да и повернет оглобли назад. А мы тут свою водицу замутим... русскую...

— Граф, вы шутите, — сказал Карамзин.

— Шучу, точно, да ведь с шуточкой-прибауточкой русский человек далеко идет. И покойный старичок Суворов шутил, а Измаилы брал-таки, Сен-Готарды перешагивал-таки! То-то, подите, шажок-то был у шутника!

Граф Растопчин, точно, начал шутить по-своему.

Какой-то немец, с пособием от правительства, начал надувать у Симонова монастыря шар. Работа производилась таинственно, за оградой, но народ бегал туда тысячами и хотя видел мало, зато говорил много. Про будущие действия шара рассказывали чудеса. Народ это забавляло.

Императорские манифесты из Вильно заставили москвичей взглянуть на дело с большим рассудком. Народ вдруг почуял что-то недоброе. Надвигавшаяся туча заставила всех креститься и оглянуться вокруг. Народ зашумел, заволновался. По Смоленской дороге в

Москву начали день и ночь летать курьерские тройки, направляясь к главнокомандующему. Потихоньку, кое-что, начали из Москвы вывозить.

«Не к добру это, — пошел гул по Москве. — Не обмануло Божье знаменье: быть беде».

Кто побогаче, стали из Москвы потихоньку убираться.

— Пора! — сказал Растопчин, получая от главнокомандующего все более и более тревожные вести.

— Чево такова пора! — пристал к нему шут его, Махалов, услышав такую фразу за бильярдной игрой.

— А пора, братец, карамболь по всем!

— А ну-ка, попробуй, графинька! — понял шут графа по-своему.

Доиграв партию с шутком, довольно-таки преглуповатым малым, и заставив его за проигранную партию пролезть несколько раз под бильярд, граф отправился в свой кабинет и проработал всю ночь.

Наутро первого июля вся Москва читала невиданный доселе «Листок».

«Листок» произвел эффект необыкновен-

ный. Простонародье разбирало его нарасхват. Высшее общество, в котором граф по своему происхождению вращался, было о нем далеко не высокого мнения и назначение главнокомандующим встретило с недоверием. Бойкий по-своему «Листок» заставил некоторых изменить о графе свое мнение, в которых граф, впрочем, не нуждался.

В то же утро, с «Листком» в руках, Карамзин пришел к Растопчину.

— Граф, я читал ваш «Листок».

— Ну?

— Вы уверяете, что неприятель в Москве не будет.

— Уверяю, — с легкой усмешкой проговорил Растопчин, открыто глядя на Карамзина.

Оба помолчали. Затем Карамзин, которому не понравился ни слог, ни приемы «Летучего листка», под предлогом, что граф обременен делами и заботами первой важности, предложил ему писать подобные «Листки» за него, как бы в благодарность за оказанное гостеприимство. Растопчин любезно отклонил это предложение, заметив:

— Николай Михайлович, русский народ не

афиняне и — уверяю вас — не поймет плав-
ной и звучной речи Демосфена.

— Да, вы правы, граф, — согласился, подумав, Карамзин. — У вас в «Листке» есть еще другая мысль: падение Наполеона. Точно, граф, я и сам верю этому: будучи обязан всеми успехами своими дерзости, Наполеон от дерзости и погибнет.

XII ЦАРСКИЙ КЛИЧ

И Я стану посреди вас!

Изреч. императора Александра I

Приезд императора Александра из армии в Москву был положительно сигналом того, что война с Наполеоном приняла характер войны народной. День приезда — двенадцатое июля — стал днем незабвенным и принадлежащим истории.

До того времени война, хотя и ворвавшаяся в недра России, казалась вообще войною обыкновенною, похожею на прежние войны, к которым вынуждало нас честолюбие Наполеона.

Все колебания, все недоумения с приездом государя исчезли. Все, так сказать, отвердело, закалилось и одушевилось в одном убеждении, в одном чувстве, что надобно защищать Россию и спасти ее от вторгнувшегося неприятеля.

Народ массами собрался встречать государя на Смоленской дороге, но государь, желая избежать торжественной встречи, проехал в Кремль ночью, никем не замеченный. В то время государю было не до торжественных встреч. На другой день народ увидел своего монарха в Кремле, и совершилось шествие в Успенский собор. Были произнесены подобающие случаю речи.

С дворянством государь увидался в Слободском дворце. Там среди дворянства собралось более семидесяти вельмож. Собрание открылось чтением манифеста о войне. Потом вошел государь.

Александр был величаво-спокоен, но видимо озабочен. В выражении лица его было заметно, и при улыбке, что-то задумчивое.

В кратких и ясных словах государь определил положение России, опасность ей угрожа-

ощую, и надежду на содействие и бодрое мужество своего народа.

— И Я стану посреди вас! — сказал он в заключение...

Народ чутко отозвался на клич своего государя, и это было не мимолетной вспышкой возбужденного патриотизма, не всеподданнейшим угождением воле и требованиям государя, нет — это было проявление сознательного сочувствия между царем и народом. Оно во всей своей силе и развитости продолжалось и далее. Тут ясно обозначилась необходимость расчесться и покончить так или иначе с Наполеоном не только в России, но и где бы он ни был. Первый шаг для этого был сделан. Началась война народная. Стали собираться ополчения, посыпались пожертвования.

— Александр старается возбудить дикое изуверство москвичей, — сказал Наполеон, узнав об этих приготовлениях. — Но напрасно: орлы мои будут развеяться в Москве. Не для того же я пришел из такой дали, чтобы завоевать только груды каких-то дрянных литовских хижин.

XIII

НЕЖДАННЫЙ ГОСТЬ

*Чок, чок!
Табачок!*

Растопчин

Москва вдруг точно очнулась от долгой спячки. Все начало принимать воинственный вид, все собиралось отразить надвигающуюся грозу, почуяв ее неизбежность. Народ толпами ходил по улицам и, читая Листки Растопчина, грозил и Бонапарту и всем иностранцам. Появились лубочные картинки, изображавшие Наполеона и французов в самом смешном виде. Многие стали видеть в Наполеоне даже антихриста и в его имени находили число зверино — 666. Словом, поднялась та сумятица, толковая и бесптолковая, какая именно бывает при усложняющихся необыкновенных событиях. Воинствующее, но темное перо графа Растопчина еще более усугубляло эту сумятицу, среди которой, в сущности, редко кто понимал кое-что

и редко кто кое-что предвидел. Кое-где стали проявляться даже буйства народа, и Растопчин, для ослабления страстей, стал ловить, может быть, мнимых, а может быть, и действительных шпионов Наполеона. Двух подобных шпионов из иностранцев публично наказали на Болотной площади. Схватили одного и русского. Это был молодой купеческий сын Верещагин, имевший глупость перевести на русский язык воззвание Наполеона. Его посадили в «яму», и над ним начался суд... Дворянские семьи быстро убирались из Москвы. Дома пустели. Множество проживавших в Москве иностранцев благоразумно скрылись; не имевших средств скрыться Растопчин сам выслал из города...

Гроза стала неизбежной.

Среди этой сумятицы испуганного люда, похожей на встревоженный в ночную пору курятник, среди этих предположений, угроз, ропота и молитв, — один только человек в Москве остался спокоен и с замечательным хладнокровием выжидал решения неотразимых судеб.

Не мало лет прошло с тех пор, как мы по-

знакомились с алхимиком Ираклием Лаврентьевичем Иванчеевым. Как старый дуб, разрастаясь с годами, все более и более крепнет, глубоко пуская в землю свои корни, так и старик Иванчеев, окрепнув, бодро еще держался на ногах. Ему было уж лет восемьдесят, но эти восемьдесят лет не согнули его, не удручили. Он жил теперь один, похоронив и жену свою старуху и двух взрослых дочерей. Как ни тяжела была эта потеря для Иванчеева, но он стойчески перенес ее и еще более углубился в свои алхимические опыты.

Время шло. Настал грозный двенадцатый год. Прозорливый старик уже давно предвидел ту сумятицу, которая началась и там, на далекой окраине России, и здесь, теперь, в Москве. В этом отношении он даже изменил своему обычному правилу обо всем, что знает, молчать. Когда еще Наполеон делал смотр гвардии в Париже, а потом совершал поездку в Дрезден, он явился к тогдашнему главнокомандующему Москвы, фельдмаршалу Гудовичу, и попросил у него секретной аудиенции. Хотя с трудом, но старик был принят.

В высшей степени деликатный, мягкий,

но с выражением великолепия на лице, фельдмаршал спросил Иванчеева о цели его прихода к нему.

— Нахожу необходимым сообщить графу то, что покуда никому не ведомо, — начал смело Иванчеев.

Фельдмаршал слушал и видимо заинтересовался:

— Что? Что такое, государь мой?

В кратких словах Иванчеев пояснил фельдмаршалу, что Наполеон, взбудоражив всю Европу, вероятно, взбудоражит и Россию.

Фельдмаршал слабо улыбнулся:

— Не новость, государь мой.

— Не новость теперь, граф, но тридцать лет назад это было большой, никому не ведомой новостью, — настойчиво говорил Иванчеев.

Гудович насторожил ухо. В словах доселе неизвестного ему старика звучало нечто такое, что заставляло вдуматься в особенный их смысл.

— Я тридцать лет назад знал о всем том, что происходит теперь.

— Ого! — как бы очнулся фельдмаршал и

слегка наклонился к Иванчееву, устремив на него свои серые, маленькие глаза, точно хотевшие сказать: «Да ты — пребольшой чудак, голубчик мой».

— Да, ваше сиятельство, тридцать лет знал о том, что совершается теперь, — повторил Иванчеев.

— Тридцать лет! — удивился фельдмаршал. — Времени, точно, много, но что ж из того, что вы знали?

— То, ваше сиятельство, что я и теперь знаю кое-что.

— А ну, поведайте?

— Наполеон будет в Москве.

Фельдмаршал призадумался, потом, слабо улыбнувшись, вперил глаза на Иванчеева. Фельдмаршалу показалось, что перед ним сидит полоумный человек. Это было в апреле. В это время, хотя в высших сферах и знали о неизбежности войны с французским императором, но никому и не грезилось, чтобы Наполеон покусился на Москву. Неудивительно после этого, что Гудович, человек вообще не особенно дальновидный, да к тому же еще расслабленный старостью, не взвесил как

следует значения сообщаемого ему каким-то неизвестным стариком известия. Он долго и пристально смотрел на Иванчеева, потом спросил:

— Вы чем занимаетесь, государь мой?

— Алхимией, — отвечал твердо Иванчеев, видя ясно, что фельдмаршал его не понимает или не хочет понять.

Фельдмаршал рассмеялся:

— О, теперь я понимаю, государь мой, откуда вы черпаете свои известия!

Иванчеев нахмурился.

— Нет, нет, государь мой, я такими известиями не интересуюсь, — продолжал фельдмаршал, придав своему голосу некоторую серьезность, и затем почти сухо прибавил: — Прошу и впредь таких известий не разносить по столице. Можете идти.

Таким приемом фельдмаршала Иванчеев был глубоко оскорблен. Он ожидал от начальника столицы большего благоразумия и большей предприимчивости относительно сообщенного, тем более что он в том, что сообщил, был неотступно уверен. Старик сам не мог дать себе отчета, почему он так полагает,

но уверенность его доходила до какого-то пророческого наития, пророческой силы и смелости. Он чувствовал себя в высшей степени правым и справедливым. Долгий опыт сделал его самонадеянным. Много, предугаданное им, совершалось на его глазах с поразительной точностью. Но, будучи астрономом, он один из первых предсказал даже появление кометы одиннадцатого года, о чем и опубликовал в «Вестнике Европы» с тонким намеком, что имеющая появиться комета будет предвестником великих событий на Руси. На заметку никто не обратил внимания, она прошла бесследно, не вспомнили о ней и впоследствии, когда предсказание оправдалось. Зато лично Иванчеев был доволен своими выводами и тем уважением, которое ему оказывали, без шума и крику, некоторые заграничные профессора. Были у него поклонники и в самой Москве. Некоторые верили ему, особенно барыньки, как оракулу, и осаждали старика своими визитами. Старик почтительно принимал их и утешался их испугом при виде алхимических аппаратов.

Возвращаясь от Гудовича, старик ворчал:

— А, он не понял меня, он не хотел меня выслушать, так пускай же эта ошибка падет на его голову! Я, как честный гражданин и москвич, исполнил свой долг. Пусть он теперь исполняет свой. Я сказал свое слово. Пусть он скажет свое.

Упреки оскорбленного старика не достигли фельдмаршала. Но вечером того же дня на ужине у графини Разумовской, среди избранного общества, Гудович шутил:

— О, Москва у меня в опасности и в большой.

Фельдмаршала окружили.

— В какой, граф? Это интересно.

— Угадайте.

Посыпались догадки. Граф смеялся, довольный тем, что сумел заинтересовать общество. Насладившись недоумением, он, наконец, сделав серьезную мину, произнес:

— Я жду к себе в гости Наполеона.

Шутка графу удалась. Все смеялись такой несообразности, а дамы ахали, изъясняя желание повидать у себя маленького капрала. Граф под конец сообщил, кто ему принес такое интересное известие. В этом кругу людей

никто не знал старика-алхимика, и шутка вскоре была забыта.

Через месяц фельдмаршал кинул свой пост, получив отставку, и уехал на покой в Малороссию. Его место занял граф РаSTOPчин.

Среди массы дел РаSTOPчин любил и бездельничать. Он вспомнил как-то шутку Гудовича и запросто приехал к Иванчеву.

— Ну, здорово, старина! — приветствовал он встретившего его с недоумением Иванчеву.

— Граф, вы у меня! — удивился старик.

— Что ж, побываю и вы у меня. Я не Гудович. Авось кус хлеба за моим столом и для вас найдется. А теперь покуда милости прошу.

Граф открыл табакерку с портретом императора Павла и, пощелкивая по ней двумя пальцами правой руки, начал приговаривать:

*Чок, чок!
Табачок —
Ахтырский,
Богатырский,
Из рожка,
С соколка,*

*А натряску,
На закуску!
Каблучок,
Пучок,
Сморчок,
Лез в горшок,
Ах, табачок!*

Иванчеев серьезно понюхал, глядя на шутившего графа удивленными глазами.

— Что, дядя? Аль широка пядя — в тавлинку не лезет? Так ты сожми да еще возьми!

Иванчеев понюхал еще.

XIV

ГРАФ РАСТОПЧИН

Обстоятельства выдвинули его и сделали героем.

Ф. Глинка

Федор Васильевич Растопчин принадлежал к числу людей выдающихся.

Как и все богатые дворяне прошлого столетия, он получил воспитание чисто французское, блестящее воспитание, задача которого состояла в том, чтобы мальчика, прямо от

книжек, ввести в так называемый большой свет, где бы он сразу держал себя непринужденно, чувствовал себя, как дома. Все было направлено к тому, чтобы с пеленок развить в ребенке светские инстинкты, привить изящество разговора и движений, истребить застенчивость и искренность. Детей заставляли отвечать при публике уроки, играть в пословицы и находчивость, причем родители поощряли всякую выходку их детского остроумия. Благодаря этому дети умели говорить комплименты, давали ловкие ответы, были любезными и чувствительными. Один мальчик, с книгой в руках, гуляя, встретил своего учителя словами: «Учитель, я читал Плутарха, его великих людей; вы являетесь как нельзя более кстати». Другой девятилетний джентльмен, когда его спросили о классиках в присутствии трех хорошеньких девочек, отвечал: «О, здесь я могу вспоминать только одного Анакреона»!

Подобно другим, маленького Федю водили напудренным, с косичкой, с буклями, одевали в расшитый золотом кафтан, со шпагой при бедре. Светская наука далась мальчику в со-

вершенстве. В десять лет он кланялся и держал шляпу с изяществом опытного денди, мило и ловко целовал у своих маленьких кузин руки и вел с ними салонные разговоры. Вместе с тем маленький Федя превосходно знал языки: английский, итальянский, немецкий и, конечно, французский.

Наряду с изучением языков иностранных Растопчин изучал и свой родной, русский, и таким образом сделался одним из образованнейших людей своего времени.

Сперва Растопчина не замечали — не замечали ни его всесторонней образованности, ни его предприимчивого ума, хотя он и служил адъютантом у князя Таврического.

Растопчин решил: «Вздор, я выйду в люди».

И вышел.

При вступлении на престол в первый же день император Павел осыпал Растопчина наградами. Он был награжден и орденом Андрея Первозванного, и графством, и званием заведывающего Коллегиею иностранных дел.

В последние месяцы царствования Павла Растопчин, сознающий свою силу, предста-

вил императору замечательную записку о политических отношениях России к другим государствам Европы. Записка эта представляет образец замечательного ума и здоровой прозорливости.

По смерти Павла, в течение двенадцати лет, граф проживал то в Москве, то в подмосковном своем селе Воронове, совершенно частным человеком, пописывая бойкие комедийки и патриотические статейки. Общество, в котором он вращался, решительно не видело в нем ничего замечательного, да и сам он не старался подняться выше общего уровня, хотя изданные им «Мысли вслух на Красном Крыльце» ставили его наряду с лучшими деятелями того времени и давали ему неотъемлемое право на знаменитость. Слава ждала его впереди.

Двенадцатый год сразу поставил Растопчина на должную дорогу. Но и тут московское высшее общество смотрело на его назначение свысока и старалось не замечать подобного назначения, точно все шло обыкновенным порядком и ничего особенного для Москвы не предвиделось.

«Вообрази, — пишет в письме к своей подруге одна современница, — Растопчин — наш московский властелин! Мне любопытно взглянуть на него, потому что я уверена, он сам не свой от радости. То-то он будет гордо выступать теперь! Курьезно бы мне было знать, намерен ли он сохранить нежные расположения, которые он выказывал с некоторых пор. Вот почти десять лет, как его постоянно видят влюбленным и, заметь, глупо влюбленным. Для меня всегда было непонятно твое высокое мнение о нем, которого я все не разделяю. Теперь все его качества и достоинства обнаружатся. Но пока я не думаю, чтобы у него было много друзей в Москве. Надо признаться, что он и не искал их, делая вид, что ему нет дела ни до кого на свете. Извини, что я на него нападаю. Но ведь тебе известно, что он никогда для меня не был героем ни в каком отношении. Я не признаю в нем даже и авторского таланта».

Это писала одна из образованнейших и умнейших женщин тогдашней Москвы, и в ее взгляде на Растопчина заключался, стало быть, взгляд и многих других особ высшего

света на нового главнокомандующего. Этой даме впоследствии, как и многим другим, пришлось изменить свое мнение о Растопчине и — то не в меру восхищаться им, то не в меру ненавидеть.

А граф все шел своей дорожкой и с необыкновенной ловкостью умел применяться к обстоятельствам, забавно повторяя свою любимую поговорку — стишок из «Модной жены» Дмитриева:

*«Но как не рассуждай, а Миловзор
уж тут!»*

XV ПРЕДСКАЗАТЕЛЬ

Москва будет разорена...

Посещение Растопчина удивило и вместе с тем обрадовало Иванчеева. Чести такой старик уже никак не ожидал от такого лица, как главнокомандующий Москвы, да еще такого, как Растопчин.

Вдоволь нанюхавшись табаку, граф заинтересовался иванчеевскими аппаратами и

долго расспрашивал старика о значении всякой вещи. Старик охотно объяснял ему. Потом они запросто уселись, выпили по чашке кофе, выкурили по трубочке табаку. Завязалась речь.

— Времена-то, Ираклий Лаврентьевич, — заметил граф, — чертовские!

— Подлинно, граф, — подтвердил Иванчев.

— Бонапарт дурит.

— Дурит.

Граф потер свой высокий лоб и вдруг спросил:

— А правда ль, что Бонапарт в Москве будет?

— Будет несомненно, — ответил спокойно и ровно Иванчев.

Иванчев и граф посмотрели друг на друга. Граф улыбнулся. Лицо Иванчева сохранило спокойствие.

— Я сам того же мнение, Ираклий Лаврентьевич, — сказал граф, — но только — мнения, а совсем-таки не уверен в том, а вот вы говорите: «будет несомненно». Почему вы это знаете?

Вместо ответа Иванчеев взял один из своих фолиантов, раскрыл его перед Растопчиным и указал страницу.

«1790 год. Август. Свет Марса на Западе увеличивается. Звезды там же меркнут. Земля в тумане. Вывод: На Западе зарождается воин, прежние воины меркнут. Тяготы на земле».

«1791 год. Январь. Юпитер в тумане. Вывод: Гибель на Западе короля».

«1792 год. Много падающих звезд на Западе. Вывод: Гибель множества людей на Западе».

Иванчеев молча перевернул перед графом несколько листов в фолианте.

Граф прочел:

«Год 1810. Август. Гулы под землей. Землетрясение. Через год явится знамение — комета. С запада на восток движение полчищ во главе идола. Идол на развалинах».

Иванчеев взял осторожно из рук графа фолиант и положил его на прежнее место.

Мало чему удивлявшийся в жизни, граф, при этом случае, был порядочно-таки удивлен. Не было сомнения — граф это заметил и по письму, и по другим признакам, — что все им прочитанное было писано своевременно, а главное: все предсказанное — или совершилось, или совершается.

— Рад, весьма рад, что познакомился с вами, — не нашелся ничего более сказать удивленный граф, — и сожалею, что судьба не свела нас ранее. Впрочем, — продолжал граф, тронув себя за лоб, — я не совсем с вами согласен относительно «идола». Идол-то он идол, правда, но не такой уж страшный, как многим кажется. На такую силу натолкнули его обстоятельства, а без того он был бы исправным офицером... впрочем, очень неуживчивым.

— Я не военный человек, граф, и в таких делах не судья.

— Но зато вы можете быть его судьей нравственным. Наполеон — антихрист. В Апокалипсисе, в десятой главе, сказано: «И имели над собою царя — ангела бездны, ему же по-еврейски имя Аввадон, а по-гречески

Поллион».

Иванчеев отрицательно покачал головой.

— Ну, добрейший мой, вы, стало быть, совсем народа не знаете, — заметил граф. — Вот объясните мне лучше, что значит такое: «Идол на развалинах». Слово замысловатое.

— Москва будет разорена, — проговорил тихо, несколько подумав, Иванчеев.

Граф не сдержал себя и привскочил.

— Вы откуда это знаете? — почти вскричал он. Иванчеев, не вставая, спокойно посмотрел на РаSTOPчина.

— Русский народ сказал мне это.

— Как? Что такое?

— Русский народ не потерпит позора.

— А ведь вы правы... — искусственно успокоился РаSTOPчин. — Русский народ, точно, не потерпит позора и при случае готов на все. Однако ж с ним надо уметь и ладить, иначе он и хорошее и дурное все истолчет в одной ступе.

От Иванчеева РаSTOPчин уехал порядочно обеспокоенный. Слова старика относительно разорения Москвы тревожно занимали его мысли. Он вовсе не ожидал встретить стари-

ка таким умным и таким прозорливым. Старик точно покопался в его душе и затронул там самую больную струну. Приняв должность главнокомандующего Москвы, трудную и ответственную, особенно в такое тревожное время, граф все-таки шел еще ощупью, ко всему применялся, ко всему прислушивался. Как умный человек, он тотчас же сообразил, что Наполеон идет в Россию с явной целью побывать в сердце ее — в Москве, так как иначе и поход не затевался бы им в таких грандиозных размерах, да и не стоило бы вносить войну в пределы России. Освоившись с этой мыслью, граф, однако ж, не знал положительно, какую ему следует играть роль, когда Наполеон точно появится в Москве. Не вести же ему ключи города, не принять же его с депутацией и колокольным звоном! Никто ни на что не уполномочивал графа ни письменно, ни словесно, но в то же время он очень хорошо знал, что пользовался неограниченным полномочием, полномочием чисто диктаторским. Уезжая из Москвы, император пожаловал Растопчину на эполеты свое вензелевое имя, сказав при этом: «Теперь Я буду у тебя на

плечах, Растопчин». Лучшего доказательства монаршего доверия не могло быть. Растопчину развязывались руки во всей силе. Обдумывая так и сяк свое положение, граф решил наконец не отдавать Москвы неприятелю не разоренной. Это, конечно, он хранил в глубокой тайне, и вдруг какой-то неведомый миру старик-алхимик, совершенно спокойно, решил то же самое и того же самого ожидает от русского народа, чего ожидает и он. Граф мысленно склонился перед умом Иванчеева и даже в глубине души встревожился пред этой простой, но тем не менее загадочной личностью.

Совсем иные впечатления оставил по себе Растопчин в дуик Иванчеева. Иванчеев несколько не удивился ни уму графа, ни его высокому положению: он нашел графа простой, доброй личностью, и только. Любезность графа, правда, ему очень понравилась, но от графа он все-таки ничего не ожидал.

В тот же день к крыльцу домика Иванчеева, усталый и запыленный, подскакал верхом высокий и здоровый кавалерийский офицер. Он торопливо соскочил с лошади, торопливы-

ми же шагами смело и гремя саблей вошел к Иванчееву и спросил охриплым голосом:

— Здесь живет Иванчеев, Ираклий Лаврентьевич?

На его вопрос вышел сам Иванчеев.

— Вы Иванчеев будете?

— Я.

— От его сиятельства, князя Петра Ивановича Багратиона, главнокомандующего второй армией, — проговорил кавалерист, подавая Иванчееву толстый пакет, сделал по форме налево кругом и вышел.

XVI

МАРКИТАНТКА

Вы будете дочерью нашего полка.

Среди массы карет и другого рода экипажей, сдвигавшихся за полчищами Наполеона со всякого рода авантюристами и авантюристками, двигался и какой-то своеобразный возок маркитантки конноегерского полка Эвелины Гужон.

Эвелина Гужон была прехорошенькой осо-

бой лет двадцати, полненькая, с синими большими глазами и с волосами цвета спелого пшеничного колоса. Манеры ее отличались простотой, но в то же время и привлекательным изяществом. Она говорила по-французски, но довольно плохо, и потому конноегеря решили, что она иностранка, что не подлежало никакому сомнению, но к какой именно нации принадлежало это хорошенькое существо, никто не знал, да и не старался знать. Для конноегерей было довольно и того, что прехорошенькая собой и, кроме того, как маркизантка, держала хорошее вино, хорошие припасы и брала за все сравнительно с другими весьма умеренно. Сама она, впрочем, своим маркизантским делом почти не занималась. Занимался им у нее, и занимался довольно рачительно, какой-то субъект по имени Казимир, здоровый и плотный мужчина лет сорока, с большими усами и кудлатой головой. Казимир говорил мало, на вопросы отвечал неохотно и вообще держал себя каким-то дикарем, за что конноегеря и прозвали его литовским медведем. Он и в самом деле был родом литвин, но как попал во Фран-

цию к Эвелине Гужон, не считал за нужное кому-нибудь рассказывать.

Благодаря этому молодцу, возок Эвелины был всегда полон припасами, которые он добывал Бог весть каким путем и Бог весть когда. Исправность его в этом отношении доходила до педантства. Во все время движения конноегерей из Парижа до берегов Немана не было примера, чтобы в возке Эвелины не оказалось какого-либо необходимого припаса. Возок Казимир устроил сам лично, и какой-то двухэтажный, на крупных здоровенных колесах, длинный и широкий. В верхнем этаже возка как-то ловко и плотно были уложены всевозможные продукты и вина, а в нижнем — было устроено помещение для самой хозяйки. Тут хорошенькая Эвелина помещалась, как в гнездышке, уютно и хорошо, точно в маленькой комнатке, и кроме того — безопасно.

Понятно, что у хорошенькой Эвелины поклонникам не было счета. Начиная от командира конноегерей, бравого, кругленького полковника, старавшегося походить внешностью на своего великого императора, и кончая по-

следним поручиком, все считали для себя приятным ухаживать за хорошенькой маркитанткой. На все любезности Эвелина отвечала всем одинаковой любезностью, но далее дело не заходило. Капризная маркитантка не позволяла даже лобызать свою ручку. Не обошлось дело и без ссор. Два поручика подрались на шпагах из-за того только, что одному из них сама Эвелина первому подала стакан вина. Узнав об этом, Эвелина явилась на место побоища и успокоила горячих воинов, поднеся обоим одновременно по стакану холодной воды. Один офицер чуть было не покончил с собой из-за любви к маркитантке. Сам полковник из-за нее покривил душой, уволив ни за что ни про что одного молодого и красивого сержанта, показавшегося ему соперником. Впрочем, все это было в первые дни маркитантства хорошенькой Эвелины. С течением времени все успокоилось и смотрели на Эвелину, как на гордость и на украшение своего полка.

Сама Эвелина жизнь вела довольно странную. Костюм она предпочитала черный и волосы заплетала в две косы. Редко кто видел,

чтобы она смеялась. Хорошенькое личико ее с вздернутым носиком всегда сохраняло какое-то величавое спокойствие. Говорила она тихо, но твердо. Бывали дни, что ее совсем не видали, и где она проводила время, никто не знал и не догадывался. Оживилась она только несколько, когда конноегеря, вместе с другими полками, перешли Неман и двигались по направлению к Вильно. Оживился вместе с нею и Казимир.

Только что повозка их съехала с парома, как усатый помощник Эвелины пал на колени, поцеловал землю и начал молиться. Эвелина, стоя возле повозки, долго смотрела вокруг и наконец тоже перекрестилась. В общей суматохе на них никто не обращал внимания, и потому Казимир тихо и горячо проговорил, обращаясь к своей хозяйке:

— Панночка, да мы ж это дома!

— Дома, дома, Казимир, — прошептала Эвелина, не отрывая глаз от раскидывавшейся перед ней картины могучих лесов Литвы.

— О, да слава ж Тебе, Боже, что дома! — молился Казимир. Эвелина молчала.

Вечером того же дня на роздыхе бравый

полковник заглянул в палатку Эвелины, чтобы распить бутылочку бургундского.

— Ну, сторонка, черт побирай! — бранился полковник, которого утренний дождь во время переправы промочил насквозь. — Тут сам дьявол ногу сломит, не только человек! Лес да вода — и больше ничего! По-моему, это даже хуже египетских песков. Вы как думаете об этом, Эвелина? — обратился он к маркитантке, сидевшей тут же на какой-то высокой ковровой подушке.

— О, сторона дикая! — произнесла Эвелина.

— Именно дикая. Вы правду сказали, Эвелина. Но при этом случае можно сказать правду и про императора. На какой черт он привел нас сюда! Что нам здесь делать! Вон у меня в полку в один день сегодняшней пало десять лошадей от истощения. Черт возьми, если дело пойдет так далее, то мне в Москву придется вступить не на лошадях, а на костылях!

— А вы разве думаете быть в Москве?

— Да так решено императором, так и будет! Отдохнем в Вильно — и в Москву!

— О, Москва далеко, полковник! — возразила Эвелина, — и пробраться туда нелегко.

— А вы почему это знаете, смею спросить?

— Меня в детстве кто-то привозил сюда, и я чуть ли уже не была в Москве, — разговори-лась Эвелина. — Помню это, как во сне. Город большой, и церковей много. Помню еще колокольный звон, долгий и громкий.

— Га, Эвелина, вы уж не москвитка ли?

— Нет, я сирота, полковник, и родины своей не знаю.

— Га, Эвелина, я слышу от вас это в первый раз! Прелюбопытно! Стало быть, — прошу прощения — вы не помните ни отца своего, ни своей матери?

— Мать помню, но отца — нет.

— Пустяки! — вскрикнул довольно уже подвыпивший полковник. — Вы будете дочерью нашего полка.

Полковник расхохотался своей находчивости.

XVII

ОПЯТЬ ОНА!

Эта пифия опять здесь. Где я, там и она...

Что-то тревожное закралось в душу Наполеона, когда впервые он увидел Вильно с ее лощинами, рощами и Замковой горой, величаво возвышающейся над городом. Он смутно почувствовал, что дальше двигаться ему неудобно, и он решил как можно долее оставаться в старой литовской столице.

Как и следовало ожидать, Наполеону была устроена в Вильно торжественная встреча. Толпа польских красавиц в белых платьях встретила Наполеона на мосту через Вилию, кричала «Да здравствует император!» и кидала под ноги его лошади цветы. Император, однако ж, был хмур. Ополчения из литвинов, на которые он рассчитывал, почти вовсе не составлялись, если не считать какого-то сброда из молодых людей. Император ошибся в поляках, так как и они ошиблись в нем. Что же касается простого народа, то он нисколько На-

полеону не сочувствовал.

Да и возможно ли это было.

Пространство между Ковно и Вильно представляло уже совершенную пустыню. Впереди великой армии, нестройной толпой, шли пионеры с топорами, которых народ назвал «школьниками», потому что они были очень молоды, вероятно, только что выпущены из училищ. Мигом бросались они на все то, что оставалось им после отбытия авангарда, разбирали заборы для топлива, бросались по домам, по чердакам, по подвалам, отыскивая себе добычи, а за ними стремились уже и прочие голодные дети великой нации. Они заглядывали даже в каретные сараи, обдирали экипажи, ища сокровища. Жители Литвы говорили: «Вконец разорили они нас, дома наши разобрали на дрова, хлеб скосили на корм своим лошадям, всю домашнюю скотину перерезали или угнали с собой, а лошадей взяли под подводы, и нас гонят при них. Мы носим их клад, рубим дрова, таскаем воду. Они запирают нас вместе с лошадьми в сараи и не кормят. А в панских домах, ища денег, они и полы-то выламывают, разбивают печи, про-

рубают стены, выкатывают бочки с вином, пьют до остервенения, а чего не допивают, то выливают на землю, муку рассыпают по двору, вещи жгут... Наша сторона, как горох при дороге, всякий щиплет, сколько хочет». Из числа грабителей поселяне особенно жаловались на «беспальцев» — так называли они вестфальцев и «поварцев» — баварцев. «Француз, — говорили они, — как сыт да пьян, только болтает без умолку, а эти хуже исправников и заседателей, ко всем пристают: «Давай хлеба! Давай пенензы!» По большой дороге невозможно уже было проехать: она была завалена сломанными и покинутыми телегами и павшими лошадьми. Французы появлялись и на проселочных дорогах, многие из них скрывались от своих команд по деревням и усадьбам. Часто между грабителями происходили смертные драки за добычу. А в Литву входили все новые войска, об них никто не заботился, они сами должны были искать себе пропитание. Своих больных и раненых французы размещали кое-как, в уцелевших домах, а русских пленных, раненых, покидали на улицах. Французы не щадили и своих

единоверческих костелов: раскладывали в них огонь, варили кушанья, забавлялись играми. Один костел превратили даже в театр и заставили ксендза играть в оркестре на контрабасе. Все на пути рубилось, резалось, билось, сжигалось. Так проходила партия за партией, и каждая из них оставляла по себе следы опустошения. Люди ходили по дорогам, как привидения. В войсках появилась зараза.

Виновнику всего этого было все это хорошо известно, но он старался не замечать происходящего, даже не любил, чтоб об этом ему напоминали.

— Порядок у меня образцовый, — говорил он, — и войска наделены всем в избытке. Кто говорит о моих солдатах дурно, тому не место в великой армии.

И все молчали и старались не напоминать императору о начавшемся расстройстве войск. Впрочем, Наполеон судил о благосостоянии войск по своей гвардии, которая действительно представляла блестящее исключение.

Во дворце, где поместился Наполеон, начались балы и музыкальные вечера, точно вой-

на никого не тревожила и не занимала. Сам Наполеон подолгу просиживал на этих вечерах и казарменно, по своему обыкновению, любезничал с польскими красавицами. В один из таких вечеров, в начале июля, когда император был особенно не в духе, перед ним вдруг среди роя наряженных дам и девиц промелькнуло лицо, которое заставило его встать и тревожно оглядеть присутствующих.

Окружавшие императора изумленно переглядывались, не понимая, что такое происходит с ним.

— Опять она! — произнес вслух император и медленно, не глядя ни на кого, отправился в свой рабочий кабинет.

По зале прошел шепот.

А император, идя, думал: «Эта пифия опять здесь. Где я, там и она. Странно, эта глупо повторяющаяся встреча сильно занимает меня. Кто она, эта незнакомая особа?»

Император махнул рукой и вошел в кабинет один.

— Император, не меня ли ищите? — слышался ему навстречу слабый женский голос.

Наполеон поднял голову. Перед ним стояла

женщина в черном покрывале.

XVIII

В КАБИНЕТЕ НАПОЛЕОНА

*...Неблагодарным я не останусь. Тре-
буйте наград.*

Две большие восковые свечи с абажуром белого газа освещали кабинет Наполеона.

При свете их, тусклом и несколько фантастическом, император увидел знакомую ему фигуру женщины в черном покрывале. Лица ее, однако ж, не было ему видно: оно, все сплошь, скрывалось под тем же покрывалом, которым была окутана и вся ее фигура.

Император с минуту молчал, оглядывая таинственную незнакомку с ног до головы. Потом он тихо рассмеялся, рассмеялся с той загадочной грустью, с которой умел смеяться только он один. Затем, не переставая улыбаться, он медленно шагнул к незнакомке. Та не трогалась с места.

— Я сейчас, — тихо и щурясь начал император, — слышал прелестный голос. Он твой, дитя мое?

— Да, говорила я, император, — ответила так же тихо, но твердо незнакомка.

— Прошу сесть, — предложил император, — ежели только ты, дитя мое, не намерена исчезнуть, как исчезала ранее. Признаюсь, я несколько суеверен, и потому появление твое, время от времени, порядочно интересовало меня. Прошу сесть. Не бойтесь... впрочем, — император улыбнулся, — духи едва ли чего боятся... мы здесь одни и сюда никто не войдет.

Император сам подошел к маленькой входной двери и плотно притворил ее. Великий человек, делая маленькое дело, хитрил: он опасался, чтобы незнакомка не ушла от него.

— Теперь мы как голубки в клетке, — засмеялся он. — Теперь, не подглядит нас даже и прозорливый глаз Талейрана. Впрочем, ты, дитя мое, в этом отношении несколько не уступаешь ему, даже более: прозорливость твоя граничит с пророчеством. Откуда у тебя этот дар пророчества? И кто ты?

— О, император! Я самая обыкновенная де-вушка, — сказала незнакомка.

— А! Девушка!

Император прошелся раза два по кабинету.

— Но в качестве чего же вы следуете за мной, дитя мое?

— В качестве маркитантки великой армии, — отвечала незнакомка.

— Маркитантки?

Наполеон громко рассмеялся.

— Маркитантки! О, это знаменательно и начинает походить на роман, который я читывал в молодости! Не помните ли: действие происходит во времена завоевания Перу, при Пизарро, в долине Куско. Вслед за армией Пизарро всегда следовала одна хорошенькая маркитантка и много раз спасала жизнь Пизарро. Ее звали, кажется, Альдана — не помню хорошенько. Вас как зовут, милое дитя?

— Эвелиной.

— Но Альдана была, кажется, из рода каких-то грандов Кастилии. Вы?

— Графиня.

— Га! Совсем роман.

Наполеон приблизился к Эвелине.

— Но Пизарро хорошо знал свою Альдану,

я же совсем своей не знаю.

— Можете узнать, император, — произнесла Эвелина и медленно открыла свое лицо.

— А! Я не ошибся! — сказал император, всматриваясь к лицу Эвелины, необыкновенно очаровательное и выразительное. — Я был уверен, что под этим черным покрывалом непременно скрывается прехорошенькое личико. Графиня полька?

— Полька, император.

— И в этом тоже был уверен. О, какое приятное знакомство. Теперь уж непременно посажу вас, графиня.

Император взял ее за руку и, как дитя, слегка нажимая на плечо, посадил в кресло. Сам сел подле, закинув ногу на ногу, и с нескрываемой, несколько наглой усмешкой стал смотреть на потупившуюся графиню.

С женщинами Наполеон держал себя вообще не только бесцеремонно, но даже цинично. Он их презирал и был уверен, что они только и способны рожать детей. Подобный взгляд был в нем неудивителен, если вспомнить, что в молодости он вел жизнь крайне уединенную, а когда при директории обстоя-

тельства и собственный его гений выдвинули его вперед, то он посещал такое общество женщин, в котором именно о женщинах не мог составить выгодного понятия. Он не умел обращаться со сколько-нибудь порядочными женщинами, не умел говорить с ними, а так как всякого рода стеснения были ему невыносимы, то он по возможности избегал их. Особенно он ненавидел умных женщин. Г-жа Сталь всю жизнь была для него чем-то непонятным и невыносимым. В женщинах ценил он только одну молодость и красоту и в этом отношении был неразборчив донельзя. Он даже несколько раз влюблялся, но — Боже мой, что это была за любовь! Это было нечто в высшей степени наглое и возмутительное. Но он, оправдывавший свои действия во всем, говорил и по поводу своих привязанностей: «Не всякий имеет право так любить, как я люблю! Я люблю слишком по-своему».

И точно, он любил по-своему. Сидевшая теперь перед ним графиня Эвелина, вся в черном, с большими синими глазами, великолепно сложенная, начинала сильно нравиться великому императору. Он щурился, глядя

на нее и слегка подергивая губами, что у него было признаком хорошего расположения духа.

Графиня все еще сидела потупившись, что необыкновенно шло к ее фигуре и представляло нечто в высшей степени очаровательное.

— Графиня! — начал Наполеон. — Я очень доволен тем, что вижу перед собой не духа, а живое существо, и притом — такое милое! Я плохо знаю этот дикий край. Скажите мне... О, я вам поверю!., скажите мне: что за народ московиты?

— Великий народ, император, — произнесла тихо графиня.

— Одно и то же! — возвысил голос Наполеон и забарабанил пальцами по столу какой-то медленный марш. — Вы не стоворились ли с Коленкуром, милая графиня? Коленкур того же мнения.

— Я Коленкура не знаю, император, — сказала графиня.

— Не знаете! Га! Откуда же вы знали те случаи, о которых мне предсказывали ранее?

— Орел знает небеса, крот — землю. Вот

разгадка моих предсказаний, император.

— Как все объясняется просто! — воскликнул Наполеон.

— Проста и сама жизнь, император.

— Га, да вы философ, графиня! — засмеялся Наполеон. — Вам сколько лет? Двадцать. Не более, конечно. Странно: так мало живете и так много знаете. Конечно, вы знаете и то: чем окончится мой поход в Россию?

— Знаю, император, — сказала твердо графиня.

— Да, да, припоминаю, вы уже сказали мне это: на меня обрушится вся Европа...

— Более, император.

— Ну?

— Вам придется отступить из России.

Наполеон вскочил, сильно двинув в сторону кресло.

— Что за женщина! — вскричал он. — Она, кажется, хочет быть не стряпухой, а полководцем! Впервые вижу такую выскочку, — горячился грубо император. — Госпожа Ремюза, та тоже умничала, но эта... О, вы уж слишком умны, дитя мое! — обратился император прямо к графине, сидевшей, как черное извая-

ние. — Умерьте ваши предсказания, а то иначе и я могу кое-что предсказать!

— Я не боюсь угроз императора, — произнесла тихо и без волнения графиня и при этом медленно поднялась. Взволнованный император быстро шагнул к ней:

— Стойте! Не уходите!

Графиня стояла, не трогаясь с места.

— О, эти женщины, — понизил несколько тон своего голоса император, — всегда лезут туда, где их не спрашивают!

Он зашагал по кабинету.

— Эти Юдифи мне не по душе!

— Кто же вам по душе, император? — проговорила графиня. — Вирсавии?

Наполеон остановился в упор перед графиней.

— Вы румянитесь? — спросил он насмешливо.

— Я для этого еще слишком молода, император.

— Га, молоды! Но румянятся и молодые. Женщина никогда не забывает о румянах. Им особенно идут две вещи — слезы и румяны! Советую и вам, графиня, заняться этими дву-

мя вещами. Политика вам не к лицу. Вы в шахматы играете, графиня?

— Нет, император.

— Жаль. Я бы сыграл с вами партию. Посмотрел бы, кто останется в выигрыше.

— Играя, я вам уступила бы, император.

— Но я — никогда.

— Вы на это имеете право и силу, император.

— Стало быть, я имею право и на любовь? — сказал император, слегка покачивая головой и прищуривая, точно к чему-то приглядываясь, правый глаз.

Графиня молчала.

— Но я о любви своеобразного мнения, дитя мое. Что такое любовь? Это, по-моему, — страстное чувство, под влиянием которого человек оставляет в стороне весь мир, чтоб обращать свои взоры только к любимому предмету. Но такая исключительность не в моем характере. Что, например, за дело моей жене до моих развлечений, если они не влекут за собой никакой привязанности с моей стороны!..

— Император, ваша жена скоро будет ма-

терью, и ее имя можно пощадить, — проговорила с оттенком упрека графиня. — Луиза не Жозефина.

— А, это мне нравится, дитя мое! — сказал, помолчав, император, и на лице его заметно пробежала улыбка удовольствия.

Иметь сына — была заветная мечта императора, и он всегда говорил об этом предмете охотно и с радостью. Графиня затронула больное место императора. Он, задумавшись, сел к столу и оперся на локоть правой руки. Из залы, где сидели гости, послышались в это время монотонные звуки музыки Пазиелло, которую особенно предпочитал император. Там заметили долгое отсутствие императора и, предполагая, что он сел за работу, распорядились о музыке, располагавшей его к усиленной деятельности.

— Вы любите подобную музыку? — спросил император у графини как-то тихо, точно боясь нарушить окружавшую их тишину.

— Она слишком монотонна, император.

— Вы правы. Но в этом-то и сила. Только повторяющиеся впечатления способны овладевать нами вполне. Вы, графиня, повторяете

свои появления ко мне, и вы овладели мною. Признаюсь, вы занимаете меня. Скажу более: я обязан вам. Спасти меня два раза от опасности — не шутка. Может быть, это не более как случай, самый пустой, ничтожный, но он для меня важен. Неблагодарным я не останусь. Требуйте наград.

— Император, лучшая награда для меня — ты! — произнесла вдруг порывисто графиня и, точно утомленная, грузно опустилась в кресло и закинула голову назад, судорожной рукой обнажив ее совсем от черного покрывала. Грудь ее поднималась высоко. Лицо пылало.

Наполеон, не торопясь, как бы исполняя привычное дело, с загадочной улыбкой на губах взял ее руку и медленно-медленно поцеловал ее...

XIX

ПРЕРВАННАЯ ИДИЛЛИЯ

*Нежданным гостем он явился,
Совсем нежданное сказал.*

Байрон

Июльское солнце высоко стояло над Веселыми Ясенями. День был жарок и душен. Полки князя Багратиона давно уже прошли далее, по направлению к Чаусам, но главная квартира его все еще оставалась в замке графа Валевского. Шла усиленная переписка с главной квартирой первой армии. Писал граф Сен-При. Писал адъютант князя Муханов. Писал сам Багратион. Главная квартира первой армии требовала столько отчетов, задавала столько вопросов, что князь Багратион, по его выражению, превратился из воина в подьячего.

Весь этот день с утра князь находился в каком-то странном настроении. Все окружающие это заметили и недоумевали. Всегда веселый и говорун, любивший пошутить и посме-

яться, иногда довольно грубо и неразборчиво, князь впал в рассеянную задумчивость, рвал нетерпеливо недописанные письма, повторялся в вопросах, и что всего страннее: несколько раз среди серьезного разговора вдруг начинал насвистывать какую-то дикую мелодию, не то венгерский разухабистый марш, не то заунывную, но в то же время и лихую цыганскую песню. Он даже несколько раз отдавал одно и то же приказание и в разговоре с графом Сен-При назвал Барклая «ленливым подпоручиком». Граф Сен-При, начальник квартиры Багратиона, хотя и был предан своему начальнику, князю, но в то же время он был человек светский, честолюбивый, имел большие связи в Москве и в Петербурге и по своим видам вовсе не разделял ненависти князя к военному министру. Он, во всяком случае, был прозорливее своего начальника и не ошибался, полагая, что в свое время теперешние кажущиеся промахи Барклая вознаграждаются сторицею. Бауцен, Кульм, Лейпциг и Парлок блистательно доказали это. Сен-При мог так или иначе поставить такой отзыв князя о Барклае на вид — и князю

это было бы весьма неприятно. Но князь забыл обо всем этом. Его занимали совершенно иные мысли.

Утро не выходило у него из головы.

Появившись на пороге идиллического домика графа Валевского, князь был удивлен представившейся ему картиной и стоял на пороге, не трогаясь с места. Ни Валевский, ни Уленька сперва его не заметили. Уленька продолжала играть. Валевский слушал ее молча, лежа и закинув голову назад.

Звуки цимбал начали замирать. Еще один взмах — и все кончено.

— О, Ревекка! Как все это хорошо! — проговорил, точно во сне, граф Валевский. — Дикая музыка... я слышал подобную где-то в Испании, на берегах Таго, от цыганки... дикая — но она дьявольски шевелит мои нервы... Я люблю эту грусть, я люблю этот разгул: в них много жизни. Встань и подойди ко мне, Ревекка.

Уленька поднялась, хотела подойти к Валевскому, но остановилась в испуганном недоумении, вытаращив глаза.

— Что же ты? Подойди, Ревекка.

— Ах, пан Ромуальдо... туто... мы не одни...

Уленька запнулась.

— Что такое? — сказал лениво Валевский и медленно приподнялся.

— Прошу прощения, граф, — говорил Багратион, — что нарушил вашу семейную... семейную...

Валевский встал на ноги.

— Картину, хотели вы сказать, князь, — договорил граф.

— Пожалуй.

— О, это пустяки, князь! — произнес Валевский, нисколько не смущаясь. — Это мое маленькое Тиволи. Я здесь иногда провожу по несколько часов: отдыхаю от бурь житейских.

— Чтобы насладиться новою бурей... — заметил, улыбнувшись, Багратион.

Валевский рассмеялся:

— Вы правы, князь. Но что же мы стоим? Сядемте, князь. Ревекка нам приготовит кофе. Я, князь, зову эту девушку Ревеккой. Но она не Ревекка, она просто Ульяна Рычагова — моя певица.

Во все время, пока говорил Валевский, Багратион не спускал глаз с Уленьки. Уленька растерялась и поторопилась выйти пригото-

лять кофе.

По ее уходу Багратион и Валевский сидели с минуту молча. Обоим было почему-то неловко. Багратион, казалось, интересовался обстановкой комнаты. У Валевского вертелось в голове: «Зачем он зашел сюда? Что ему надо? Нечаянно зашел он сюда или нарочно?» Чтобы о чем-нибудь заговорить, Валевский начал:

— Хорошо ли, князь, провели у меня ночь? — спросил он.

— Превосходно, граф, — отвечал, как бы очнувшись, Багратион. — У вас все так хорошо, удобно, — продолжал любезно он. — Я очень рад, что начальник моего штаба, граф Сен-При, назначил у вас, именно у вас, граф мою временную квартиру. Ваша внимательность, граф, ко мне выше того, чего я мог ожидать.

— Князь, это для меня лестно, — говорил с тою же любезностью Валевский. — Для лучшего сподвижника Суворова все двери должны быть отперты настежь.

— Вы разве любите Суворова? — спросил с оживлением Багратион.

— Прежде — он был мой идол, теперь — я его боготворю.

Багратион внимательно посмотрел на Валевского, несколько прищурившись и как бы что-то соображая, и вдруг спросил:

— А давно у вас, граф, живет эта певица?

— Не особенно.

— Вы ее откуда взяли?

— Из Москвы.

Князь как-то особенно тронулся всем корпусом вперед.

— Из Москвы? — переспросил он несколько удивленным голосом.

— Да, князь, — подтвердил Валевский.

— Она цыганка?

— Признаюсь, князь, совсем-таки этого не знаю, — объяснил Валевский, — да едва ли она и сама знает об этом.

— А! — протянул неопределенно Багратион. — Она, стало быть, какая-нибудь сирота, подкидыш?

— Скорее всего, князь, — подтвердил догадку Багратиона Валевский и рассказал князю, каким путем к нему попала Ульяна Рычагова.

Багратион внимательно слушал Валевско-

го, чему последний немало удивлялся. Впрочем, решил он про себя, все знаменитые люди имеют свои странности. Имеет их, без сомнения, и Багратион. Валеvскому даже подумалось: интересуясь его певицей, не интересуется ли полководец чем-либо другим и не испытывает ли от него чего-либо другого, поинтереснее судьбы какой-то никому не ведомой певицы?

Уленька подала кофе. Она стыдилась и прятала лицо свое от Багратиона. Генерал был ей страшен, но в то же время и занимателен. Приготовляя кофе, она все размышляла о нем. Она представляла себе картину, как этот большой генерал командует полками и как ведет полки эти на войну. При этом припоминался ей и воспитатель ее, московский солдат, который в числе других генералов упоминал всегда имя и князя Багратиона.

«Так вот он какой, этот генерал», — думалось ей.

Опять Багратион не сводил глаз с Уленьки, и когда та хотела уйти, он остановил ее:

— Ты постой, красавица, не уходи. Я слышал твою игру на цимбалах. Ты играешь хо-

рошо. Сыграй еще то же, что играла.

Уленька посмотрела на Валевского. Тот, еле заметно, мотнул головой. Певица молча взяла свой инструмент. Багратион, медленно прихлебывая кофе, опустил веки, точно не желая смотреть или о чем-то глубоко раздумывая. Валевский недоумевал, что все это значит.

Уленька села на коврик и забренчала. Струны ожили, и вскоре трепетом их наполнилась вся небольшая комнатка, где сидели Валевский и Багратион.

— Хорошо, хорошо! — шептал Багратион, все еще не поднимая век и, видимо, с большим удовольствием слушая виртуозку.

Карое лицо его при этом оживлялось все более и более. Он потом вдруг открыл глаза и уставился на Валевского.

— Граф, я солдат! — проговорил князь твердо, — и потому все и всегда говорю прямо и откровенно. Оставьте меня на минуту с вашей певицей. Она мне... дочь!..

XX

КНЯЗЬ БАГРАТИОН

*Тщетны Россам все препоны,
Храбрость есть побед залог.
Есть у нас Багратионы —
Будут все враги у ног!*

Павел Кутузов

Получив пакет от Багратиона, Иванчеев немедленно распечатал его. В пакете оказалось длинное письмо, писанное на толстой синей бумаге.

— А, вспомнил-таки и про меня! — проговорил Иванчеев, разглядывая письмо. — А то про молодца в последнее время ни слуху ни духу. Ну-ка, полюбопытствуем, чем делится со мной старый приятель Петрушка.

«Здравствуй, дядя Ираклий! — писал Багратион. — Давно-таки я не делился с тобой словечком, все недосуг было, право слово тебе говорю, не вру и не подумай, пожалуйста, чтобы я позабыл про тебя. Ты знаешь, где я находился и как нелегко было оттуда пере-

писываться. А теперь так и совсем того труднее, да к тому ж — и дела, брат, дела! Ни отдыха, ни покою! Французы гонятся за мной по пятам, и черт знает чем все это кончится. Не знаю, как у вас там, в Москве, а у нас плохо, очень плохо, и мне думается, все это окончится скверно для нас. Наполеон идет на Смоленск, из чего надо заключить, что ему нужна Москва».

— И без тебя, миленький, знаем про это! — произнес Иванчеев и продолжал читать:

«В Смоленске думаем соединиться, ежели ничто не помешает, а помешать могут каждую минуту. Коли соединимся, буду настаивать на «генеральном». Я уж писал об этом графу Аракчееву. Но тот что-то отмалчивается или говорит что-то совсем другое. Вообще, говорят у нас много, а делают — ничего. Один только Ермолов и бьется кое-как, желая, чтобы и овцы были целы, да и волки сыты. Чудак-человек! Да разве я пойму когда-нибудь Барклая, а он меня! Ни в жизнь. Он хитрая лисица, это правда, но до полководца русской армии ему еще да-

леко, особливо при таких сложных обстоятельствах, да еще с таким соперником, как Наполеон. В армии все им недовольны, и — ручаюсь чем угодно — он не удержится на своем посту, отчего, правду сказать, мне будет не легче. На ком государь остановится — не знаю, но, смею думать, никак не на мне. У меня везде достаточно и друзей и врагов, последних больше, и те мне усердно подставляют ножку, находя меня человеком не особенно «стоящим». А сами-то они чего стоят! Только интригуют да ругаются, а коль до дела дойдет, так и на попятный. Сколько советчиков и героев было до войны, а теперь — где они? Ни слуху ни духу, попрятались в свои норы да подсовывают под пули наши головы. А пуль для наших голов у Бонапарта немало. Я уж был в нескольких стычках, небольших, но довольно горячих. Солдаты наши молодцы, более чем молодцы — львы. Поверишь ли, дядя Ираклий, кабы наших солдатиков да Наполеону — он бы чудеса творил в мире. Впрочем, и его солдаты ничего себе, народ школенный, да только в них

все же таки не хватает чего-то, нет этой удали и силы чувства, как у нашего солдата. Люблю, братец мой, солдат, а теперь особливо. Часто с ними беседую и подчас в них нахожу столько ума, что хоть бы и не солдату. Однако ж, дядя Ираклий, я заговорил с тобой о таких вещах, которые для тебя, вероятно, совсем неинтересны. У меня есть вещица не в пример интереснее! Слушай, да слушай хорошенько, в оба уха, не пророни ни единого словечка. Я нашел свою дочку!»

Как ни хладнокровен, как ни ровен был ко всему Иванчеев, но при этих словах своего давнишнего приятеля пришел в неописанное изумление и несколько раз прочел поразившее его место. Потом, не продолжая письма, прошелся раза два по комнате и закурил трубку.

— Га, нашел дочку! — произнес, походив, старик. — Но какую дочку? Уж не от той ли цыганки? Вероятно, от той цыганки. О другой какой-либо дочке речь ему вести со мной не к чему. Ну-ка погляжу, догадлив ли я на старости лет.

Иванчеев продолжал чтение.

«Да, я нашел свою дочку, дядя Ираклий! И представь: у ней много общего и с матерью и со мной. Вылитая Джальма и твой Петрушка Багратион во времена оны».

— Так и есть, я не ошибся. Речь идет о цыганке, — сказал Иванчеев.

«Да и поет, и бренчит на цимбалах точно так же, как пела и брэнчала Джальма, — пояснял в письме Багратион. — Открытие совершилось при самой поэтической обстановке, ни дать ни взять в рыцарском романе. Я обрел ее в поместье графа Валевского, у которого она состоит певицей и — это мне не особенно понравилось — метресской. Но что делать! Что совершилось, то должно было совершиться. Впрочем, граф человек умный, приятный и дал мне слово сделать ее своей супругой. В добрый час! Граф настолько заинтересовался — человек он вообще романический — этим событием, что примкнул к моей квартире, нарядился в мундир улана и теперь следует за мной, доказывая, что он во-

ин не только не бесполезный, но даже в некоторых случаях необходимый. За нами следует и Ульяна Рычагова — таким неблагозвучным именем зовут мою дочку — и очень рада, что такой генерал, как я, имею честь быть ее отцом. Первое мое объяснение с нею было несколько комично. Она меня пугалась и смотрела диким зверьком, восклицая «пан» да «пан». Наконец, помаленьку обошлось и разрыдалась на моей груди. Черт возьми, дядя Ираклий! Я пережил одну из счастливейших минут в моей жизни. Ты очень хорошо знаешь, что в женитьбе я несчастлив. Благодетель император дал мне чины, деньги, красавицу жену, но не дал любви и семейного счастья. Как ни глупо, но я Джальму любил всем пылом своего молодого сердца. О, молодость, молодость! Помнишь ли, дядя Ираклий, как я под твоим покровительством и даже на счет твоего кошелька приютил Джальму у Дорогомилловской заставы, в маленькой квартирке, и ездил к ней каждый вечер, забывая даже о тебе, мой добрый дядя? Помнишь ли, как она любила меня и

как ее отец выуживал у меня последние деньжонки? Ты все помнишь, дядя Ираклий. Помнишь и то, как я, наконец, должен был покинуть Москву и вместе с тем ее, мою Джальму. Помнишь, конечно, и то, как и она исчезла из Москвы и что никакие наши усилия к отысканию ее не привели ни к чему. Ты все помнишь, дядя Ираклий. О, молодость, молодость!»

Иванчеев остановился. На глазах его, старческих и усталых, сверкнула слеза. Старик всегда любил Багратиона и радовался его успехам. Воспоминания Багратиона шевельнули воспоминания и в его сердце. Он живо припомнил, как молодой князь, Петр Иванович, перебиваясь кое-как в Москве, решил наконец поступить в военную службу. Старику не верилось тогда, чтобы Петруша пошел далеко, и он говорил молодому человеку:

— Э, полно, брат! Военная служба не каляч — сразу не раскусишь. И побойчей тебя молодцы, да и те недалеко уходили.

— Ну, там посмотрим, дядя Ираклий! — говорил весело князь. — Авось до полковника-то кое-как доплетусь, — и тут же напомним

старика о гороскопе, который он составил для него и по которому князю предстояла великая будущность.

Старик тогда смутился, так как предсказание его как-то не вязалось с тем, о чем он только что говорил молодому князю.

С улыбкой молодости князь простился со стариком, с улыбкой оставил его дом — и затем, на несколько лет, пропал как-то бесследно. Старик считал уже князя погибшим, как вдруг о нем получилось известие. Князь уже был в чинах и обращал на себя внимание. Скромным, добродушным письмом Багратион известил Иванчеева о своих успехах, и опять надолго замолк. В Италии Суворов заметил Багратиона и полюбил его. Имя Багратиона стало известным. На него посыпались ордена. Австрийская кампания уже совсем выдвинула Багратиона и поставила наряду с лучшими генералами. В Москве после этой кампании ему уже делается дворянством торжественный прием, Державин пишет в честь его стихи, а за ним и другие поэты славословят его храбрость.

Тут старик Иванчеев увидел Багратиона.

Австрийский герой посетил старика. Встреча их была проста и трогательна. Перед Иванчевым и доселе, как живой, стоит образ князя Петра Ивановича в новом мундире, в орденах, с ногойкой через плечо. Князь много шутил, припоминал старое, выкурил трубочку, выпил чашку кофе и покинул старика, и опять надолго.

Что-то грустное и смутное оставил по себе Багратион в сердце Иванчеева. Любя князя, старик все-таки не понимал его. Старческий каприз Иванчеева хотел видеть князя тем же добродушным юношей Петром Ивановичем, каким он видел его прежде. Мундир с орденами смущал старика, вообще тихого и ведущего затворническую жизнь.

В Финляндии Багратион еще раз отличился — и к двенадцатому году он уже был генерал от инфантерии и командовал второю армией. Иванчееву это хорошо было известно, но князь о себе что-то ничего не сообщал.

Иванчеев вспомнил о гороскопе князя и сказал:

— Я не ошибся. Князь действительно играет в этой войне одну из видных ролей. Но...

Иванчеев припомнил еще что-то, постоял в раздумье и опять стал читать письмо князя.

«Да, дядя Ираклий, я теперь переживаю приятные минуты, но... но — поверишь ли — одна глупость иногда несколько отравляет меня. Ты знаешь о ней. Мы говорили как-то с тобой о том в день свидания. Вот уж сколько лет, а она у меня не выходит из головы. Каждое седьмое сентября, невзирая на всю твердость моего характера, я чувствую себя отвратительно. Еще глупее: в этот день я запираюсь и никого не принимаю. Посмейся со мной, дядя Ираклий, и скажи: «Ай да главнокомандующий, — испугался цыганских бредней! — вот бы кого палками!» Особенно эта дрянь не выходит у меня из головы со дня свидания с дочерью. Джальма в своем полосатом платке у Апшеронской часовенки стоит передо мной неотразимо. Седьмое сентября близится... Неужто, дядя Ираклий...»

— Все может быть, князь! — проговорил серьезно Иванчеев и шагнул в раздумье по комнате.

XXI

БАРКЛАЙ ДЕ ТОЛЛИ

*О, вождь! несчастливый! суров
был жребий твой:
Все в жертву ты принес земле те-
бе чужой.
Непроницаемый для взгляда чер-
ни дикой,
В молчаньи шел один ты с мыс-
люю великой.*

А. Пушкин

Ровно восемнадцать дней Наполеон пробыл в древней столице Литвы — Вильно. Он не привык так долго сидеть на одном месте, но Вильно была последнею точкою соединения его с Европою, и ему, вероятно, многое надо было устроить прежде того, чем углубиться в недра России, откуда уже все внешние сношения его должны были быть и ненадежны и затруднительны.

В Вильно он назначил герцога Бассоно литовским губернатором и возложил на него всю переписку с Парижем и с войсками, сде-

лав его, таким образом, посредником распорядительных политических и даже военных сношений между императором и его владениями.

Лично сам Наполеон почему-то бездействовал.

Первая русская армия под начальством Барклая отступала. Вторая, под начальством Багратиона, старалась соединиться с первой. Положение второй армии было поистине отчаянное, но Наполеон сразу не заметил этого и не воспользовался безвыходным положением Багратиона. Правда, он потом понял это, но было уже поздно. С беспримерной настойчивостью, кидаясь то туда, то сюда, Багратион, наконец, шел почти беспрепятственно для соединения с главной армией.

Все окружающие Наполеона заметили при этом важном случае необычайную медленность его движений и приписывали эту медленность упадку его физических сил.

С великим императором в это время в самом деле происходило нечто загадочное. Он был то непомерно раздражен, то непомерно весел и говорлив, но приливы веселья и го-

ворливости были в нем как-то искусственны и тяжелы.

Раздражение императора первым на себе испытал король Вестфальский, брат Жером. Император обвинил его в том, что он не сумел удержать Багратиона, и выслал короля из армии, не дав ему даже конвоя.

В свою очередь, король, раздраженный несправедливостью императора, заметил:

— Не пришлось бы и самому императору, подобно мне, убраться из России налегке.

Узнав о таком отзыве брата-короля, Наполеон пришел в бешенство.

— Щенок! — ругался он. — Не сумев вовремя разбить наголову Багратиона, он хочет неудач и другим, чтоб оправдать свои! Но он лжет! У меня еще армия сильна и без таких полководцев, как он, я буду в сердце России, как у себя в Париже!

Приказано было массу войск двинуть на Витебск. В это время в армии начала уже оказываться зараза. Армия, снаружи грозная и сильная, носила уже в себе зародыш уничтожения. Солдаты питались незрелыми растениями, парили их в горшках и ели без всякой

приправы. По дорогам валялись обнаженные трупы солдат и крестьян. Картина опустошения расширяла свои пределы по мере дальнейшего вторжения французов в Россию. Все окрестности большой дороги заняты были разными прислужниками, мародерами, женщинами-авантюристками, находившимися при обозах, и должностными чинами... Там были своего рода ярмарки: фуражиры продавали награбленную добычу, разноплеменные народы ссорились за нее, сыпались ругательства на всех языках.

При вступлении неприятеля в Витебск, от тесноты и разных лишений, зараза усилилась и голод оказался ощутительнее. Об этом доложили Наполеону.

— При хорошем распоряжении солдаты никогда не умирают с голоду! — отвечал он.

В то время Витебск считался границей России. Все полагали, что Наполеон остановится там зимовать.

Он говорил:

— Здесь, на берегах реки Двины, конец походу двенадцатого года. Поход тринадцатого года довершит остальное.

Потом, обратись к графу Дарю, Наполеон прибавил:

— А вы, граф, заготовляйте нам продовольствие. Мы не повторим безумия Карла XII. Надобно обдумать, куда идешь, чтоб уметь выйти оттуда.

Отдан был приказ выписать из Парижа в Витебск актеров.

За недостатком зрительниц хотели пригласить дам из Вильно и Варшавы.

Холодный и спокойный Барклай мало верил тому, чтобы Наполеон остался надолго в Витебске, и потому сам вознамерился задержать там неприятеля, чтобы дать тем время князю Багратиону спешить на соединение с первой армией. С этой целью он решился принять сражение сперва впереди города, потом позади его. Против сражений возражал начальник Главного штаба Ермолов и настойчиво требовал отступления армии, так как наши позиции были в высшей степени невыгодны, а собранном военном совете все единогласно согласились с мнением Ермолова. Между тем ожесточенная схватка уже началась. Барклай приказал войскам начать от-

ступление. Отряды, находившиеся в схватке, много способствовали отступлению, так как неприятель был уверен, что перед ним находится вся первая русская армия. Предводительство войсками взял на себя сам Наполеон и намерен был разбить русских наголову, что и случилось бы наверное, если бы русские вовремя не отупили.

Только поздно ночью Наполеон узнал о своей ошибке и — в сильном раздражении — приказал преследовать русских, где бы они ни пошли. Пустой случай разрушил план Наполеона относительно зимовки в Витебске.

Наши войска отступали к Поречью и Смоленску. В Смоленске наступило желанное соединение армий. Князь Багратион приехал к Барклаю с несколькими генералами, большою свитою и пышным конвоем. Главкомандующие встретились с возможным изъявлением вежливости, со всем видом приязни, но с холодностью и отчуждением в сердце. Они друг друга мало понимали.

Войска оживились. Все стали ожидать чего-то необыкновенного и решительного. Больше всего надежд возлагали на Баграти-

она. В нем видели преемника Суворова, и в храбрость его верили, как в святыню. Князя везде встречали с радостью и с восхищением. Совсем иначе смотрели на Барклая. Не только офицеры, но даже и солдаты осуждали его действия и видели в нем изменника отечеству. Откуда взялось это мнение, кто пустил его в ход, чем оно оправдывалось — неизвестно.

Скромно и молчаливо сносил Барклай осуждения и, казалось, не замечал их.

Он привык в жизни больше делать, чем говорить.

Долго невидная служба покоряла Барклая. Де Толли общему порядку постепенного возвышения и, стесняя надежды, стесняла и его честолюбие. Он из скромности был не высокого мнения о своих способностях. Быстрым, порывистым ходом он вдруг достигнул назначения главнокомандующим в Финляндии и потом, неожиданно для себя, получил звание военного министра, а вместе с тем и власть главнокомандующего первою армией. Такие быстрые возвышения возродили против него зависть и породили много неприятелей.

Неловкий у двора, он не расположил к себе близких к государю людей, а своею холодно-стью не снискал приязни равных и не сделал приверженным к себе подчиненных. Он был то чрез меру недоверчив, то доверчив до чрезвычайности и способными людьми окружать себя не умел. Бедность не покидала его, и потому он отдалялся от общества. Семейная жизнь Барклая была также не весела. Воздержан он был во всех отношениях. Храбрость его была безмерна, опасностей он не знал, и страх был ему недоступен.

Только такой человек и мог довести русских до Бородина и безропотно передать власть главнокомандующего в руки другого великого человека.

XXII

КНЯЗЬ КУТУЗОВ

*...народной веры глас
Воззвал к святой твоей седине:
«Иди, спасай!» Ты встал — и спас.*

А. Пушкин

Отгремел бой в Смоленске и под Смоленском. Развалины Смоленска были оставлены неприятелю. Это дало пищу к обвинению Баркляя, и его положение, как главнокомандующего, стало несомненно шатким. Уже несколько не стесняясь, кто хотел, тот и порицал Баркляя. Дело дошло до того, что его почти в лицо бранили молодые офицеры. Умный и рассудительный, Барклай сносил все это безропотно и со дня на день ожидал замены.

Она не замедлила совершиться. Под селением Царево-Займище Барклай узнал, что главноначальствующим над всеми действующими армиями назначен князь Голенищев-Кутузов. Назначение Кутузова было

встречено в войсках восторженно. Барклай был забыт и заброшен, точно его не существовало и точно он не принес пользы ни на одну каплю.

Кутузов не замедлил прибыть из Петербурга в Царево-Займище. С его прибытием сразу кончились несогласия, и все ожидали порядка, успехов и славы. Возродилась надежда кончить отступление, которое стало всем невыносимо и было гибельнее схваток с неприятелем. Первый приказ Кутузова был, однако ж, тоже об отступлении, хотя позиция под Царевом-Займищем и была признана во всех отношениях удобной для битвы, князь ожидал подкреплений, приближавшихся к армии.

Кутузов родился в 1745 году и образование получил в Инженерном корпусе. К военным наукам он не имел никакой склонности и любил более словесность, которую не покидал во всю жизнь. Чтение романов было одним из любимейших его занятий. Он пописывал даже стихи. Судьба, однако ж, готовила ему иное поприще. Лавры война увенчали его вечной славой. От природы он был страшно

самолюбив и горяч. В молодости он был до того вспыльчив, что когда командовал полком и был недоволен учением, то, сойдя с лошади, бросался на землю, метался и чуть не плакал. Первый офицерский чин он получил на семнадцатом году и командовал ротой в полку Суворова. Затем он находился в польской войне и в войне с Турцией, в Крыму. Тут обнаружилась его храбрость. Ему поручили напасть на укрепление при Шумле. Впереди войск со знаменем в руках он ворвался в неприятельский стан и был ранен пулею. Рана заставила его поехать за границу для лечения, где он занялся военными науками, и возвратился в Россию с превосходными познаниями в военном искусстве. За усмирение бунта в Крыму он был произведен в генералы. Во вторую турецкую войну он уже командовал отдельным корпусом. При осаде Очакова он был снова ранен пулею. При знаменитом в военной истории взятии Измаила Кутузов играл одну из первых ролей и был назначен Суворовым комендантом этой крепости. С этого времени поручения, даваемые Кутузову, становились все более и более важными. После

войны он отправлен был послом в Константинополь и окончил поручения блистательно. По возвращении из Турции он был назначен сперва начальником кадетского корпуса, а потом — Казанским и Вятским генерал-губернатором и начальствующим крепостями и сухопутными силами в Финляндии. Император Павел отправил Кутузова послом в Берлин. Император Александр назначил его Петербургским военным генерал-губернатором. 1805 год поставил Кутузова уже на такую высоту, на которую становились немногие из его предшественников. Затем, через несколько лет он благополучно окончил войну с Турцией на берегах Дуная и почему-то вдруг впал в немилость и был назначен приготовить в Петербурге какое-то незначительное ополчение. Назначение это было равносильно оскорблению. Старик покорно сносил его, относясь, однако ж, серьезно к своему назначению.

Отступление Барклая и недовольство им в армии вдруг заставили всех в Петербурге обратить внимание на старика-воина. Стали открыто высказывать, что только назначение

Кутузова остановит стремительный ход Наполеона в недра России. Государь имел великодушные не воспротивиться этому желанию общества. Он сперва дал Кутузову княжеское достоинство, а потом назначил и полномочным главнокомандующим армией и всего края, занимаемого войсками.

Среди общего довольства по поводу назначения главнокомандующим Кутузова один только Багратион встретил это назначение холодно и с нескрываемой досадой говорил:

— Нашли кого назначить, старого развратника, который только и умеет возиться с девчонками да дремать на советах.

Кутузову не замедлили шепнуть об этом.

— Ох! Ох! — замотал головой старик. — Горяч больно! Вот поглядим, кто заснет скорее...

Недовольство Багратиона было понятно: он более других рассчитывал занять место Баркляя. С этой целью, вопреки своему рыцарскому характеру, он унизился даже до рода какого-то доноса на Баркляя в письме к Аракчееву. В этом письме он жаловался на медленность и неспособность Баркляя, упрекал его за сдачу Смоленска, уверяя, что под

Смоленском выгоднее всего было бы дать генеральное сражение и легко можно было бы разбить Наполеона. Далее он советовал собирать ополчение, потому что неопытный и в высшей степени осторожный Барклай скоро приведет неприятеля в Москву. В заключение он уверял, что Барклай не любим не только что им, но даже и всем войском. «Вся армия плачет и ругает его насмерть», — писал он.

С назначением Кутузова Багратион сам становился в роль Барклая.

XXIII БОРОДИНО

*Изведал враг в тот день немало,
Что значит русский бой удалый,
Наш рукопашный бой!*

*Земля тряслась — как наши груди.
Смешались в кучу кони, люди,
И залпы тысячи орудий
Слились в протяжный вой...*

М. Лермонтов

После Смоленска Наполеон искал сражения за Дорогобужем, у Вязьмы, потом у Царева-Займища, но, однако, до самого Бородина ему не пришлось вступить в борьбу с русскими.

В Вязьме Наполеон объявил войскам:

— Теперь цель наших движений — Москва, эта азиатская столица великой империи, священный город народов Александра! Та Москва, где мы увидим бесчисленное множество церквей в форме китайских пагод и где мы найдем множество золота, серебра и обильное продовольствие!

Узнав о назначении Кутузова главнокомандующим, Наполеон смеялся:

— Это не тот ли старичок, который умеет отлично бегать? Га, это хорошо! Я ему еще раз дам повод бежать, только не из Баварии, а из своей Московии, за Волгу, в киргизские степи.

Наполеон и в самом деле не тревожился новым назначением, даже более: он был доволен этим назначением, весьма вероятно допуская, что новый главнокомандующий будет вынужден вступить с ним в генеральную борьбу. Барклай своим отступлением и своею

осторожностью тревожил его несравненно более.

Но русские войска все еще отступали. Отступление было тяжело. Продолжительный жар и засуха утомляли войска до бесконечности. Пыль на четверть аршина покрывала собою дорогу и столбом стояла в воздухе. Люди шли, обвязав носы и рты платками. Сквозь пыль солнце казалось багровым и еще более разжигало и без того уже горячий воздух.

От Смоленска наши войска шли уже всей армией, в огромной массе, и потому продовольствие для лошадей доставать было трудно. Овсу цены не было. Продовольствие для людей добывалось даром. Для говядины ловили и забирали рогатый скот, овец и свиней. Жители не только не противились, но даже предлагали брать все, говоря: «Берите, батюшки, берите, родные, чтобы не досталось французу».

Французы ломились на русских бодро и смело. Русские, со времени назначения Кутузова, были уверены, что вскоре сражение произойдет страшное, но нисколько не унывали.

При отступлении от Смоленска арьергард

наш плохо удерживал напор французов, и потому армия, отступая, принуждена была идти без разбора и днем и ночью. Кутузов усилил арьергард, который каждый день по возможности удерживал французов, и армия регулярно поутру подымалась, днем имела привал, а вечером, в свое время, останавливалась на ночлег.

Это нравилось солдатам, и они говорили: «Не успел приехать старик Кутузов, как уж пошли другие порядки».

Сперва Кутузов решил дать сражение у Колоцкого монастыря близ Гжати, производилось даже построение укреплений, но потом позиция для обеих армий была назначена далее, на одиннадцатой версте, не доходя г. Можайска, при селении Бородино, лежащем в четырех верстах от Москвы-реки.

Кутузов часто объезжал армии. Сидя верхом на своей небольшой гнедой лошади, в сюртуке без эполет, в белой фуражке и с казачьей нагайкой через плечо, он хитро и пристально ко всему приглядывался и плутовато посвистывал.

«С такими молодцами все отступать да от-

ступать!» — приговаривал он при этом.

Отступление наше от Гжатска до Бородины было не что иное, как продолжительное сражение с небольшими роздыхами. Французы продвигались вперед медленно, по трупам своих товарищей.

Бородино принадлежало тогда Денису Давыдову, известному партизану. В своем же имени он, с благословения Багратиона и с разрешения Кутузова, получил право на партизанство. Вместе с Сеславиным и Фигнером он не мало наносил вреда неприятелю.

Замечательно, что на равнине Бородина струятся четыре речки с названиями: Войня, Колоча, Стонец и Огник.

Дойдя до полей Бородинских, французская армия вдруг распахнулась направо и налево: представились необозримые движущиеся толпы, кажется, поля гнулись под множеством конницы, леса наполнились стрелками, пушки вытянулись из-за кустов.

«Теперь ни шагу назад!» — произнес Кутузов, остановясь при Бородине.

«Мы назовем эту битву Московской!» — сказал Наполеон, видя приготовления рус-

ских к битве.

Осматривая ряды нашего войска и приметя непоколебимое мужество, отразившееся на лицах солдат, Кутузов, улыбаясь, шетил: «Французы переломают над нами зубы — я знаю это верно». Накануне роковой битвы с утра все приготавлилось для ее: артиллерию развозили по местам, солдаты острили штыки, белили портупей, будто готовясь на парадный смотр. Жизнь, готовая скоро остыть, кипела еще вполне...

Настал полдень. Вдруг среди русских войск раздалось стройное, священное пение стихирь: «Заступница наша усердная», это носили по приказанию Кутузова чудотворную икону Смоленской Божией Матери. Шли молебны. Кутузов несколько раз прикладывался к иконе, за ним прикладывались все по порядку. Неприятели с насмешкой смотрели на эту благоговейную картину молебствия русских, называя это изуверством. Мечты о славе и победе заменяли им молитву.

В их рядах раздавались разноязычные песни, хохот, хлопанье пробок из бутылок и шумные восклицания. Играли в штос и лю-

безничали с авантюристками.

Сам Наполеон проснулся в этот день довольно рано. Он был совершенно спокоен, даже в хорошем расположении духа. Накануне, вечером, когда приказания были отданы, он провел несколько приятных часов наедине с графиней Валевской. Любезная красавица графиня, бывшая незнакомка в черном покрывале, уже не покидала Наполеона и развлекала его в одиночестве. Графиня была восхитительна, не пророчествовала уже более бед, напротив, предсказывала Наполеону блестящие победы.

— Вы уверены? — смеялся Наполеон.

— О, император! — восклицала раскрасневшаяся графиня. Император трепал графиню по щеке.

В свою палатку графиня ушла только на заре, оставив в императоре ощущение приятно проведенного времени.

Император натирался одеколоном, когда ему доложили о приезде из Парижа гонца. Гонец привез императору радостную весть. Императрица подарила его наследником. Портрет маленького сына Наполеона, почему-то

названного королем Рима, был выставлен у палатки. Наполеон, любуясь сыном, чуть не прослезился. Тут же присутствовавшая графиня с особенным вниманием следила за императором. Затем Наполеон приказал вынести портрет к войску.

— Виват, император! Виват, король римский! — кричала армия, увидав изображение маленького римского короля.

Императору подан был завтрак. Пуншу было выпито им более обыкновенного. После завтрака он продиктовал приказ армии.

«Воины! — говорилось в этом приказе. — Вот сражение, которого вы столько желали. Победа зависит от вас. Она для нас необходима: она доставит нам все нужное — удобные квартиры и скорое возвращение в отечество. Действуйте так, как вы действовали при Аустерлице, Фридланде, Витебске и Смоленске. Пусть позднейшее потомство вспомнит с гордостью о ваших подвигах в сей день. Да скажут о каждом из вас: он был в великой битве под Москвою».

Окончив этот приказ, император отправился кататься верхом. Он осмотрел поле сра-

жения, выслушал замечания нескольких маршалов о предстоящей битве и, отдав приказания, возвратился в свою палатку. Вечером он во второй раз поехал по линии.

— Шахматы поставлены, игра начинается завтра, — сказал он, обращаясь к своему дежурному адъютанту Раппу.

— Да, игра будет достойная вашего величества, — отвечал Рапп.

Выпив пуншу, Наполеон прилег отдохнуть, но ему не спалось. Тревожное чувство волновало его. Он вышел в теплом пальто и стал бродить около палатки. Легкая женская фигура подошла к нему.

— Вы, графиня? — спросил император и, не дожидаясь ответа, продолжал, взяв графиню за руку: — Завтра предстоит ужаснейшая битва, вас не пугает это, дитя мое?

— За победными знаменами вашего величества страха не существует, — отвечала тихо графиня.

— Гм! — промычал император. — Мне бы хотелось услышать от вас что-нибудь более толковое, чем эти общие места моих солдат. Говорят, что женщины прозорливее мужчин.

Ну, вы, прозорливица, — произнес император несколько грубо и раздражительно, — скажите: что обещает завтрашняя битва?

— Вы хотите знать истину, император?

— Одну истину.

— Солнце Аустерлица не взойдет над полями Бородина! — сказала медленно графиня.

— Подите прочь! — почти вскричал император, кидая руку графини. — Не ваше место здесь!

Графиня скользнула куда-то в сторону.

Ночь была темна и непроглядна. На биваках обоих войск пылали бесчисленные огни, метавшие багряное зарево свое на далекое пространство. Пламя, отражавшееся на небе, как бы предзнаменовало пролитие крови на земле. Часовые расхаживали взад и вперед, всадники, проезжая с фуражом, раздавали сено и овес. Вокруг каждого костра стояли, сидели и лежали отдельные кучки воинов. В иных местах слышался стук от рубки дров, ломание сараев и заборов. Все толковали о предстоящем деле. Все на стороне русских предполагали, что будет славное дело. Наполеон и его солдаты — не шутка. Но страха

как-то не замечалось. Солдаты как-то сроднились с мыслью о смерти, мало кто думал выйти из этой войны целым: не сегодня, так завтра убьют или ранят.

Кутузов был невозмутим. Распоряжения делал спокойно и не торопясь. Лежа на грубой постели в крестьянской избе, он долго читал какой-то французский роман, по временам отрываясь от него, чтобы выслушать какое-либо донесение. Вид он шел, однако ж, какой-то утомленный, сонный, точно его вовсе не занимало предстоящее дело.

На долю князя Багратиона выпал левый фланг. По расположению позиции Кутузов очень хорошо знал, что силы французов более всего устремятся на Шевардинский редут. Кроме князя Багратиона, никто не мог удерживать подобной позиции.

Багратион поместился в сарае. Сарай был высок и поместителен. Там была его квартира, в которой вместе с ним поместился адъютант его, князь Федор Гагарин, и граф Ромуальд Валевский с Уленькой Рычаговой, нарядившейся в казацкий кафтан. Казацкий наряд очень шел к молодой смуглянке, и редко

кто подозревал, что грубый казацкий кафтан прикрывает высокую девичью грудь.

Тревожен и угрюм был Багратион накануне Бородинского сражения. Тоска тревожила его. Он не находил себе места и следствие этого отдавался самой горячей деятельности.

Кутузов завернул к нему и удивился деятельности князя, не было сомнения, что князь все предусмотрел и в нем неприятель встретит защищающегося льва.

— Благодарствуйте, Петр Иванович! — низко поклонился ему Кутузов. — Авось, Бог даст, и отблагодарим Бонапарта за все про все.

Князь пожал только руку старика.

До поздней ночи Багратион возился с Давыдовым, который спрашивал инструкций и советов. В эту ночь Давыдов должен был отправиться на свои партизанские набеги.

Князь наконец прилег отдохнуть. Но ему не спалось, как не спалось, без сомнения, тысячам людей, наводнившим дотоле неведомые поля Бородина. Думы одна другой мрачнее лезли в голову князя. Он припоминал прошлое, настоящее и сам не мог объяснить причину своей печали.

«Неужто я буду завтра убит? — мелькало в голове князя. — Но ведь завтра не седьмое сентября!»

При этой мысли князь даже рассердился на себя.

— Какой глупец! Какой глупец! — сказал он уже вслух.

При всем, однако ж, желании отделаться от глупых мыслей глупые мысли решительно одолевали его. Он припомнил давнишнее предсказание Иванчеева. «Ведь сбылось же! — вертелось в его голове. — Отчего же это не может сбыться!»

В полночь в сарай вошел Валевский с Уленькой. Он всюду бродил и все показывал Уленьке, которая с любопытством, превышающим самый ужас, осматривала грозные приготовления к бою.

— А, граф! Вы? — встретил его Багратион, привстав с какой-то наскоро приготовленной постели.

— Что, князь! Ведь битва-то будет чертовская! — сказал Валевский.

— Полагаю.

— Не отправить ли нам нашего героя, —

Валевский мотнул головой в сторону Уленьки, — куда-либо в безопасное местечко?

— Ни за что! — вмешалась Уленька, героически поднимая голову с загорелыми до темноты щеками и глазами, блестящими, как огоньки.

— Видите, граф, — произнес Багратион, глядя искоса на дочь, — что ваша защита ни при чем. В ней багратионовская кровь, и она, я думаю, не испугается бородинских пуль, как не испугалась пуль смоленских.

Князь махнул рукой и закрыл глаза, показывая вид, что хочет спать. Валевский с Уленькой отошли. Они вскоре, улегшись на своих местах, заснули. Багратион не спал. Полежав, он вышел из сарая, прошелся по редуту, поговорил с солдатами. Возвратившись, он посмотрел на спящую Уленьку, поцеловал ее тихо, медленно прошелся раза два по сараю и лег. Сон охватил его как-то сразу.

В половине шестого утра раздался первый выстрел со стороны французов. До этого времени Наполеон, проснувшийся рано, беспрестанно посылал узнать: не уходят ли русские? И, получив удовлетворительный ответ, по-

вторял:

— А, это хорошо!

В пять часов утра прискакал к Наполеону курьер, посланный от маршала Нея, с известием, что русские выстраиваются уже на месте, готовые к бою.

— Лошадь мою, лошадь! — воскликнул Наполеон, — Пойдем отворять московские ворота!

Окруженный своими маршалами, он вскоре был уже на высотах села Шевардина.

Раннее утро было холодно и пасмурно, и сквозь нависший на землю туман чуть видно было движение массы враждующих армий.

Наполеон увидел, что здесь собраны были все силы русских.

— Сквозь этот туман, — сказал он, — я думаю, взойдет аустерлицкое солнце, — и запел,-

*О, эта победа
Откроет нам путь!*

На востоке вспыхнуло яркое солнце. День обещал быть прекрасным. Лучи ослепительно заиграли на меди пушек и скользнули по

смертоносной стали штыков и ружей.

— О, я говорю, что это аустерлицкое солнце! — снова воскликнул Наполеон, наподобие актера простирая к солнцу руку.

— Да здравствует император! — отвечали ему солдаты. — Мы взяли Вену, Берлин, Мадрид, Рим и Неаполь — возьмем и Москву!

Совсем иначе вел себя его соперник, Кутузов.

Он с ранней зари находился на возвышенном месте, в деревне Горках. Обозревая оттуда всю местность, он хладнокровно расставлял свои полки, чувствуя всю важность битвы, и говорил начальникам войск:

— Сберегайте резервы, кто их сохранил, тот еще не побежден, наступать колоннами и быстро действовать штыками.

Наших солдат поставили в боевой порядок, им прочитали краткое воззвание главнокомандующего, самое важное и впечатлительное выражение в котором было: «за нами Москва».

Все расположения были уже сделаны, все предусмотрено и обдуманно. Никакому поэту и художнику не нашлось бы безопасного места,

откуда бы он мог наблюдать за картиной сражения.

Первое французское ядро упало на то место, где Кутузов ночевал.

Войско наше, в глубоком, но грозном безмолвии, двинулось против врагов. Французы, со штыками наперевес, перешли за реку Колочу, — и вдруг раздался гром из нескольких сот огнедышащих жерл. Наши отвечали тем же. Пошла страшная трескотня канонады: казалось, что громаы воздушные уступали место громам земным. Войска сшиблись, и густые клубы дыма, сквозь который прорывались снопы пламени, закутали их. Огненные параболы гранат забороздили небо, понесся невидимый ураган чугуна и свинца. Столкновение противников было самое ожесточенное. Остервенение не имело пределов. Многие из сражавшихся, побросав свое оружие, сцеплялись друг с другом руками, раздирали друг другу рты, душили друг друга в тесных объятиях и вместе падали мертвыми. Здесь бился Восток со всем Западом, здесь бился Наполеон за всю свою будущность.

И в самом деле, в этот день Наполеон был

неузнаваем. Какая-то беспокойная суровость выражалась на его лице, и по временам он очень пристально всматривался на поле сражения. С каждой минутой чувство недоумения и беспокойства все более и более овладевало Наполеоном. Он не ожидал встретить такого сильного отпора со стороны русских. Он думал найти в русских прежних противников Аустерлица и Фридланда и с ужасом замечал, что он ошибается. Все приемы, все средства, которые доставляли ему многие победы, были пущены в дело, но не приносили ожидаемой пользы. В былые сражения через два, много через три часа к нему скакали маршалы и генералы с поздравлениями, а теперь уже адъютанты то и дело доносили ему, что русские все стоят и стоят. Ужас, холодный и жестокий ужас, овладевал императором, не знавшим прежде никаких ужасов. Он уже не рассчитывал на победу, а перебирал в уме своем все случайности, которые бы могли быть для него несчастны. Пунш он поглощал стакан за стаканом. Лицо его стало желто, опухло, и нос покраснел. У него, однако ж, достало духу заглушить в своем сердце все чело-

веческие струны и написать в Париж, что поле битвы было великолепно, потому что на нем было пятьдесят тысяч трупов.

Кутузов не вдохновлял себя пуншем. Он сидел на лавочке, покрытой ковром, понутив свою старческую голову. Старик понимал, что участь сражения зависит от духа в войске, и потому не столько интересовался донесениями, сколько всматривался в выражения окружающих лиц.

Бой между тем продолжался, принимая все более и более ужасающие размеры. Трупами завалено было уже все поле, и артиллерия скакала по ним, как по бревенчатой мостовой, втискивая их в землю, упитанную кровью, и все это происходило на пространстве одной квадратной версты. Многие батальоны перемещались между собою, так что нельзя было различить неприятелей от своих. Люди и лошади, страшно изуродованные, лежали в разных группах. Раненые, покуда могли, брели к перевязкам, начальников несли на плащах. Пронзаемые штыками и поражаемые картечью, солдаты в некоторых местах спирались до того, что, умирая, не имели места, где

упасть на землю. Ядра сталкивались между собою и отскакивали назад. Чугун и железо отказывались служить мщению людей: раскаленные пушки не могли выдерживать действия пороха и лопались с треском, поражая заряжавших их артиллеристов. Пороховые ящики взлетали на воздух. Крики командиров и вопли отчаяния на разных языках смешивались с пальбою и с барабанным боем. Батареи переходили из рук в руки. Бородино пылало.

Особенно ужасна была резня на левом фланге. Там командовал Багратион. На своей вороной лошади он носился как ураган, поспевал повсюду. Казалось, что он сам ищет смерти. Укрепления этого крыла несколько раз переходили из рук в руки. Тут боролись лучшие герои дня. Тут был Кановицын, тут был Воронцов и Неверовский, тут был Горчаков и Тучков, тут был Насевич, тут был, наконец, Раевский. В половине десятого, рванувшись массой, неприятель завладел укреплениями. Принц Мекленбургский остановил успехи неприятеля, но был тяжело ранен. Полковник Кантакузен явился ему на смену.

Прискакал сам Багратион. Несколько минут — и неприятель поспешно отступил, но — полковник был убит, а шальной осколок ядра ударил в ногу Багратиона.

— Ранен... — прошептал князь, но затаил боль и продолжал ободрять войска.

Бледность, наконец, покрыла лицо князя, кровь хлынула из раны, и он в глазах войск чуть было не упал с лошади.

Сопровождавшие его адъютанты, Валевский и Гагарин, подхватили его.

— Князь, вы ранены! — вскрикнули они.

— Свершилось... свершилось... я ожидал этого... — прошептал невнятно князь.

Его отнесли в одну из уцелевших изб Шевардина. Явились доктора. Оказалось, что князю надо было отнять ногу.

— Оставьте! — сказал князь, придя в себя. — Эта рана за Москву. Она первая и последняя. Боже, спаси отечество! — перекрестился он слабой рукой.

Князь начал бредить. Прибежала Уленька-казак, пала перед ним на колени и разрыдалась.

Князь, спустя некоторое время, узнал ее,

слабо улыбнулся и перекрестил.

— Не оставь ее... люби, граф... — произнес он слабо, обращаясь к Валевскому. — Она, как и рана, моя первая и последняя.

Тут он сделал несколько распоряжений и приказал Валевскому идти на свое место, так как здоровые люди в такую минуту дороги.

Уленька осталась при князе. Валевский поскакал снова в бой.

На графа нашло какое-то жгучее опьянение. Он вспомнил свои старые подвиги в рядах солдат и стал кидаться в самые опасные места. Космополитизм его исчез. Он ненавидел Наполеона подобно тысячам русских. Славянская натура его сказалась вполне. Разгоряченный, он и не заметил, как очутился вдруг далеко от своих, в толпе польских улан. Озираясь, он увидал несколько знакомых лиц.

— Пан Ромуальд! Пан Ромуальд! — раздались вокруг него знакомые голоса.

Валевский был взят пленником. Кто-то сообщил графу, что дочь его тоже находится здесь и имеет честь быть принятой у великого императора. Не замедлила появиться и сама дочь.

— Отец! — произнесла она, падая перед отцом на колени.

— У меня нет дочери! — сказал сурово граф. — Моя дочь покинула меня давно, и...

Что-то зашипело вблизи графа. Показался дым, сверкнул огонь — и граф упал навзничь, даже не вскрикнув. Тайна отношений отца с дочерью погребена была вместе с трупом первого.

Эпилог

Битва кончилась. Закатилось багровое солнце. Луна, как лик покойника, тускло осветила на Бородинском поле сто тысяч трупов. Прежняя картина теперь сменилась на другую. Носился какой-то особенный запах селитры и крови. Кто был победителем? Неизвестно. Русские отступили. Зато нравственная сила неприятеля была окончательно истощена. Как раненый зверь, французское войско могло еще докатиться до Москвы, по силе инерции. Но там оно должно было погибнуть без всяких усилий с нашей стороны. Смертельная рана уже была нанесена при Бородине, и последующие ужасы, происходившие с французской армией, были прямым следствием Бородинского сражения. Нравственная победа была несомненно одержана русскими.

* * *

Что ж наши герои?

Иванчеев не покидал Москвы во все время пребывания в ней неприятеля. Он прожил ровно сто два года, тихо и мирно, все в своих же Грузинах, занимаясь алхимией, и умер то-

гда, когда уже память о двенадцатом годе превратилась в историческую легенду. Кости его успокоились на Лазаревом кладбище, где очень долго на его могиле, близ церкви, сохранялся камень с надписью: «Ираклий Ивановичев. Жительство его было сто два года». Другие надписи от времени стерлись. Громадная березка поникла своими ветвями над могилой бывшего алхимика.

В тридцатых годах, в салонах Варшавы и Петербурга, появился молодой человек, имевший необыкновенное сходство с Наполеоном. Это был граф Александр Валевский. Мать его, графиня, тихо доживала свой век в Веселых Ясенях, вспоминая свою первую и последнюю любовь — умершего на далеком, пустынном острове императора.

Князь Багратион после получения раны прожил только шестнадцать дней: в жестоких страданиях, почти не приходя в сознание, он скончался двенадцатого сентября 1812 г. Тело героя покоится теперь на том самом поле, где он был ранен у подножия Бородинского памятника. На могиле героя лежит чугунная плита бронзового цвета, слитая из непри-

ятельских орудий. Герой двенадцатого года почил там навеки под трофеями своих подвигов. Это одна только известная могила на целом поле, где пало до ста тысяч воинов.[3]

Уленька Рычагова пропала бесследно. Темная жизнь ее и окончилась темно.

Барклай де Толли и Кутузов воздвигли себе огромные памятники в молодой русской столице. Память о них в сердцах русских людей будет вечна.

Примечания

1

*Ты зелененький дуб, ты зеленень-
кий,
Ты зеленая, ты дубравушка!
У тебя ли листья шелковые,
Твои ли желуди жемчужные,
Сама ль ты дерево все золотое!*

[^^^]

2

Так русский народ называл двенадцатый год.

[^^^]

Багратион родился в 1756 году в Кизляре и происходил из грузинской княжеской фамилии. В русскую службу вступил в 1782 г., сержантом, в Кавказский мушкатерский полк. Умер в селе Симах (Владим. губ. Александр. у.), где и был предан земле в церковной ограде. Но затем прах его был перенесен на поле Бородинское.

[^^^]